

Артур Прокопчук

Беларуская рапсодия

История семьи

Артур Прокопчук

**Беларуская рапсодия.
История семьи**

«Издательские решения»

Прокопчук А. А.

Беларуская рапсодия. История семьи / А. А. Прокопчук —
«Издательские решения»,

ISBN 978-5-44-900259-4

История белоруской семьи, бежавшей из пылающего города Минска в первые дни войны 1941—1945 гг. Эвакуация на Урал. Средняя Азия глазами мальчика. Возвращение на Родину, в освобождённый Минск. Послевоенные годы. Школа и Университет. Попытка воссоздать родословную Павловичей (мой дед) и Валахановичей (бабушка). Прокопчуки (отец — Андрей Прокопчук).

ISBN 978-5-44-900259-4

© Прокопчук А. А.
© Издательские решения

Содержание

Предисловие	6
Минск – 1939 год	16
Лето 1941-го, мы – беженцы	19
Урал, Соликамск. 1942 год	21
Болезнь	24
Лето 1943 года	29
Средняя Азия, Ленинабад, лето 1944 года	33
Сталинабад, осень-зима 1944 года	35
Мы дома, в Минске, 1944 год	37
Май 1945-го!!!	39
1946 год. Возвращение родных из Германии (репатрианты)	42
Первая потеря, февраль 1947	46
Конец ознакомительного фрагмента.	48

Беларуская рапсодия История семьи

Артур Андреевич Прокопчук

© Артур Андреевич Прокопчук, 2017

ISBN 978-5-4490-0259-4

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Предисловие

Начну с предыдущего поколения белорусских женщин, белорусских жён, с моих бабушек, как раз вступивших в XX веке в свои «младые дни». Бабушек было несколько, не всех я застал в живых, но получил тепло предков, их любовь, и самые ранние слова на «родной мове» от двух из них. Обе бабушки – Эмилия и Александра, родились до начала XX-го века. Бабушка Эмилия, окончив гимназию до 17-го года, «ушла в народ» и прожила всю оставшуюся жизнь в деревне Цитва (Пуховичи, Минская обл.), где её застали обе революции и все причитающиеся этому веку войны. После Великой отечественной, в конце 40-х, в бабушкиной деревне, мы с братом проводили летние каникулы, уезжая из голодного города, который тогда существовал только на карте. На самом деле – это была груда развалин, через которые мы протапывали тропинки, сокращая дорогу в школу.

Другая бабушка, «городская», Александра, разделила все военные напасти семьи в Первой мировой и неизменно сопровождала и нас во всех мытарствах Второй мировой. Она была с нами и во время бегства из горящего города, из разрушенного при первой бомбежке нашего «дома специалистов», и в месяцы странствий в эшелонах от Смоленска до Горького, и в Соликамске, на заснеженном Урале, куда мы, наконец, попали к концу 41-го года. Только в Среднюю Азию бабушка не поехала, когда меня с туберкулезом увозила из уральской зимы на юг, в лето, моя мама, чтобы я выжил. Бабушка не поехала с нами, не могла оставить деда в Соликамске одного, он ночевал на работе в тайге (Усольлаг), на письменном столе, а домой приходил за девять километров только по воскресеньям – помыться, поесть и отоспаться.

Обе бабушки, видимо, были красивы, дети обычно не замечают, не понимают красоты своих родителей, тем более бабушек. Это я увидел лишь сейчас, разглядывая старые снимки, но красота не особенно осчастливила их в новом столетии, в новое время, в новой стране. Такое время наступило, что надо немного о нём рассказать, хотя бы с позиции семьи Павловичей-Валахановичей.



Мои бабушки, Александра и Эмилия Валаханович (фотография на перроне Минского вокзала, 1911 год)

Первая Мировая война докатилась до станции Негорелое, откуда родом все наши Валахановичи, а вскоре подступила к Менску (Минску). Февральская революция внушила надежды, а за небольшой промежуток времени Беларускай Народной Радой был созван и в декабре

1917 года и проведен «Первый Всебелорусский съезд (конгресс)» с участием 1872 делегатов, при огульном сопротивлении местных большевиков. К Минску в это время подходили Немецкие войска.. Съезд принял «Устаўную грамату да народаў Беларусі» и поручил Исполкому съезда принять участие в переговорах с немецким командованием, что было согласовано с «самим» Троцким, посетившим Минск.

Тем временем большевики, Лев Троцкий с компанией, продолжали торговаться в Бресте с немецким командованием, готовили «Брестский договор», отдавали Германии белорусские земли с трехмиллионным населением. В той игре Ленина и Троцкого, где на кон ставились их личные судьбы и, конечно, судьба Совета народных комиссаров России, Беларусь была мелкой, разменной монетой. Троцкий не сдержал своё слово, данное белорусам, и судьба Беларуси была решена в Бресте без них, без участия делегации «Исполкома Всебелорусского съезда» – их просто не подпустили к столу переговоров. В Минске же в эти дни состоялась лекция главнокомандующего западного фронта Мясникова (Мясникьянца), в афишах была объявлена и тема его выступления – «Удержим ли мы власть?». После лекции, 19 февраля 1918 года, вся «советская власть» (Облискомзап) сбежала в Смоленск. Через неделю в Минск вошли немецкие войска...

Германские войска оккупировали 23 из 35 белорусских уездов. Началось методичное разграбление края. Только из Минска на работы в Германию было вывезено около 15 тысяч человек. В городе действовали два концентрационных лагеря [1].

То же повторится и в июне 1941 года, когда первыми Минск покинут хорошо организованные и экипированные советские аппаратчики, оставив местному населению самим заботиться о спасении женщин и детей, причём власти удерут опять, именно, в Смоленск... Ведь недаром говорят, что «история повторяется сначала в виде трагедии, а потом...». Но до «фарса» белорусы не дожили...

Кратковременные, более или менее спокойные, промежутки времени между очередными разрывами мирного времени и переменами властей в быту и жизни нашей семьи, и всех белорусов, с начала 1917-го по конец 20-х годов, составили в памяти моей бабушки Александры (Саши) собственный календарь.

Исчезновение монархии вначале очень вдохновило мужчин всего Минска, Негорелого и Койданава – пришла февральская революция 1917 года, начиналась, так многим казалось, новая жизнь, с весной дохнуло свободой. Моей тётушке, Анне Несторовне, к «февральской» исполнилось десять лет, и она помнила, как дед носил красный бант в лацкане сюртука. Мой дед, тоже Александр, и тоже Саша, как его звали дома, второй муж бабушки (первый скончался), Александр Федорович Павлович, перед революцией получил повышение, но хотел уйти в отставку с должности начальника телеграфа станции Негорелое Варшавской железной дороги. Были у него планы перебраться в Менск, как тогда назывался наш древний город.

Зачем-то русским чиновникам от истории и географии так любо переделывать древние, сложившиеся названия городов, улиц, но так город Минск жители упорно называли до 1939 года. Ну, а если уж привыкло «начальство» к слову «Минск», то пусть будет Минск. В деревнях все равно еще долго будут говорить так, как было на протяжении тысячи лет. Да и дома, по крайней мере, у нас, использовали эту древнюю форму названия города.

Дед со своим отцом, моим прадедом, Федором Александровичем Павловичем, давно вышедшим в отставку, успел как раз построить в Негорелом новый, каменный дом, который обошелся им не одной тысячей золотых рублей. Оставшиеся после строительства дома золотые червонцы, со слов бабушки, дед в 1917 году обменял на «керенки», которые быстро превратились в «труху», так как вскоре «свершилась (так нас учили в школе называть это событие) октябрьская, социалистическая», и началось лихолетье. Первая мировая война надвинулась

на Западный край (слово Беларусь всё ещё было запретным), и беларусов стали «освобождать» и «воссоединять», то Польша, то Россия, а в промежутке между ними – Германия.

С приходом каждой новой власти появлялись бесконечные декреты, указы и распоряжения, развешанные на всех столбах, на заборах, дверях частных домов, то на немецком, то на польском, но больше всего на русском, особенно, когда власть переходила к большевикам. «Большавікі паперы не шкадуюць» («большевики бумаги не жалеют», бел. яз.). так писал про Мясникова (Мясникянца) и его минскую кампанию в феврале 1918 года видный деятель беларуского возрождения Язэп Лёсик.

Но, надо быть справедливым, впервые, за сто с небольшим лет «добровольного вхождения» края в Российскую империю, стали появляться «дэкрэты» уже и на беларуском языке.

В этой военно-политической чехарде население растерялось. Немецкие, «кайзеровские» войска зашли в Минск в 1918 году и пытались навести свои порядки, ушли немцы, за ними пришли польские войска и новые власти (по бабушкиному календарю – это было «при Пилсудском»). Потом новая напасть надвинулась с востока, солдаты в неопределенной форме и разной обуви и головных уборах, с комиссарами во главе, «в острых шлемах», прибывали на станцию Негорелое, заходили нестройными рядами в Койданава (сегодня Дзержинск), и устанавливали в очередной раз «советскую» власть. Заодно устроили в новом каменном доме моего деда «почту», вывесив на ней красный флаг. Шаткое равновесие на границе противостоящих государств, и приход в Негорелое старых знакомых в новой военной форме, порождает своеобразный отсчёт ремени, в бабушкином календаре это время называлось – «за тымі большавікамі» (бел. яз.). То есть, еще до тех, первых большевиков, которые для местного населения мало отличались от «вторых» или от «третьих»...

На станцию стали прибывать эшелонами со всех сторон войска, приблизилась линия фронта, подступал голод, исчезали продукты питания. Дед быстро принимал решения и, долго не раздумывая, – надо было кормить семью, – оставил свой новый дом в Негорелом, перебрался в Менск, и там получил от какого-то нового, «революционного» начальства где-то неподалеку от Менска – Минска (он тогда назывался Минск-Литовский) полустанок (блокпост) с шлагбаумом и телеграфным аппаратом системы Бодо. Вместе с «блокпостом» полагался клочок земли, что и стало основой существования семьи несколько следующих лет.

К этому времени маме моей исполнилось семь лет. Здесь же, на полустанке, в том же домике-будке, было и жильё для всей семьи, и одновременно рабочее место деда, с телеграфом в его комнатухе. Купили корову – кормилицу на долгие годы, которую по очереди пасли моя мама с тёткой (Люся и Нюра. Иногда дед, оставив бабушку «на линии», умудрялся «смотаться» на пару дней куда-то на юг с попутными эшелонами, в зависимости от военной обстановки, за продуктами «на обмен». Потом, всегда неожиданно, появлялся, спрыгивая на ходу с проходящего мимо «блокпоста» поезда, с мешком разной, случайной еды, вроде кураги, которую мама вспоминала потом всю жизнь.

Блокпост находился где-то вблизи новой границы, прочерченной по западным границам новой, возникающей советской империи, между возрождённой Польшей и РСФСР, и мама иногда забредала вместе с коровой в другое государство, «нарушала» границу, так как обе, и мама и корова, не понимали «текущего момента», «заграницей» трава корове казалась более сочной. Один раз «нарушителей», то есть корову, как «зачинщицу», и маму поймал пограничник, но так как все пограничники были из того же района, то услышав знакомую фамилию (мамы, конечно), он их отпустил. От того времени в нашей семье остался анекдот о двух погра-

ничниках, встретившихся у пограничного столба – с польской и советской стороны, вступивших в сравнение языков (лингвисты называют это «компаративистикой»).

– «Как по польски – жопа», – спросил советский солдатик, и в ответ на польское «дупа», вздохнул с облегчением: – «Тоже красиво»...

Наконец, гражданская война окончилась. Так и продержались дед с бабушкой, и моя мама со своей старшей сестрой, на железнодорожном полустанке, вдалеке от Минских событий до... Хотелось написать «до лучших времен», но они так и не наступили. Хотя в Минск семье все-таки удалось вернуться, и даже найти жильё, «взять в наём» половину дома, поспешно брошенного городским «ксёндзом» и уцелевшего от мародеров. Дом находился на «Ляховке», окраине старого Минска, вблизи Виленского вокзала. Во второй половине дома жили Литвинчуки, их глава семьи, как и многие наши соседи, тоже служил на железной дороге. Мила Литвинчук позже, в 1945 году, сыграет случайную, но очень важную роль в соединении нашей, разброшенной по разным странам, семьи.

Бабушка Эмилия (мама звала её «тётя Эмма») была моложе бабушки Александры (Саши) на два года, а всего у моего прадеда, Викентия Валахановича, и прабабки, Розалии Довнар, родилось одиннадцать детей, многие из которых куда-то, растворились в новом, советском времени. Знаю только, что к революции бабушка Эмилия пару лет уже учительствовала на селе, сравнительно недалеко от Минска, но я увидел её впервые только после 1945 года.

«Дом на Дзержинской», как его потом долго называли, по рассказам мамы и тетки, был небольшой, по меркам того времени, но в каждой комнате было по два высоких окна, а в доме – два входа, причём у «парадного подъезда» было крыльцо с каменными ступеньками, и витые чугунные столбики, поддерживающие крышу над ним. Но самым главным в доме была великолепная, изразцовая (бабушка упорно говорила «кафельная») печь. Дом, по счастью, не реквизировали под какую-либо «почту», как случилось с домом деда в Негорелом, когда новая власть «вошла в силу». Только наш сад в скором времени отрезали от участка «для нужд советского народного хозяйства».

После известного «Рижского мирного договора» (1920) и многих «решений Политбюро», земли Беларуси так расчленили, что возник по образному выражению одного анонимного журналиста «эдакий европейский Курдистан», то есть «Беларусь: польская, российская и непосредственно БССР». Нашу многочисленную фамилию разрезали новые границы, дедушка Саша после этих «переделов» смог увидеть свою родную сестру (бабушку Зину), только через 50 лет, естественно, что только после смерти «вождя всех времен и народов».

Минск начала 20-х годов представлял яркое, в этническом смысле, людское скопление. Даже названия районов города свидетельствовали о долговременном проживании в нем, по крайней мере, четырех национальностей (точнее пяти), каждая из которых давно и прочно обосновалась на своей территории, в своих кварталах и улицах... Наша семья, хотя состояла в то время целиком из беларусов, как уже упоминалось, жила в районе «Ляховка». Не берусь утверждать, какие там тогда жили «ляхи», что и до сих пор у нас означает «поляки», но уж «Кальвария» или «Татарские огороды» дожили до советского времени, до дней моего детства. В 40-е годы через них мы ходили купаться на городское озеро, и всегда почему-то с опаской, пробегали мимо разрушенной мечети. dd> Мама часто навещала тётю Риту на Сторожёвке и на перекопанном трактором кладбище, примкнувшем к «Кальварии», как-то споткнулась на вывороченную могильную плиту с надписью «Валаханович Севастьян» – это было местом упокоения моего прапрадеда. Соседняя с нашей улицей, «Нямига» с синагогой, уж точно была

местом плотного проживания минской еврейской диаспоры, с которой мы соседствовали и всегда тесно общались. А до революции дед туда приезжал купить «колониальный товар», например, ананас.

Поляков или католиков-беларусов было прежде, до войны, очень много, но тут постаралась советская власть, а точнее её органы НКВД. Минских же евреев почти поголовно уничтожили во время войны 41—45 года немецкие оккупанты.

(Несколько справок:

В июне 1937 года, Политбюро ЦК ВКП (б) утвердило документ, который, как «Приказ», подписал нарком внутренних дел Н. И. Ежов. Приказ N00485 имел, казалось бы, узкую направленность – «О полной ликвидации... личного состава польской агентурной разведки, действующей в СССР». Но, как у нас принято, приказ «на местах» был прочитан по-своему и привел к массовому уничтожению поляков, в основном крестьян и беженцев-коммунистов из Польши. Согласно донесению НКВД от 10 июля 1938 года, число лиц польской национальности, арестованных на основании этого приказа, составило 134 519 человек. Из них 71,3 тысячи человек были давние жители УССР и БССР. От 40% до 50% арестованных людей большевики казнили (т.е. от 50 до 67 тысяч человек), остальных отправили в концлагеря или выслали в Казахстан [2].

«Польскую автономию имени Дзержинского», которая ещё какое-то время держалась в республике, уже можно было и не расформировывать, так как к 1940-ому году почти все поляки и беларусы-католики или разбежались или были репрессированы. После войны, в 50-е годы, остаткам уцелевших поляков и некоторым беларусам-католикам) «разрешили» выехать в Польшу, тогда город Гродно окончательно «советизировался», что означало практическое его опустение, город превратился в памятник исторического прошлого. Исчезла целая ветвь беларуской католической конфессии, неотъемлемая часть общей беларуской культуры.

Многоконфессиональность и национальная толерантность на землях Беларуси сохранились с незапамятных времен, это было нормой и в Великом Княжестве Литовском и в «Жечи Посполитой», хотя в Польше, антисемитизм, в частности, все-таки дал свои ядовитые ростки. Антисемитизм вообще не свойственен беларускому народу, а пресловутая «черта оседлости» способствовала лишь тому, что в Минске второй по численности национальностью оказались к началу XX столетия евреи, которые легко уживались с местным населением последние пять-сот лет. Кстати, великое множество самых известных евреев, начиная от первого президента Израиля, Хаима Вейцмана и до последнего Шимона Переса, родились в Беларуси. Здесь еврейское население местечек и городов чувствовало себя в относительной безопасности – помните мечты Паниковского (персонаж романа Ильфа и Петрова «Золотой теленок») – попасть в «Бобруйск – золотое дно». Это был благодатный для края, его полиэтнической культуры, симбиоз, в том числе и генетический, что дало возможность появиться и проявиться многим, самым выдающимся, ученым и художникам, писателям и поэтам, актёрам и музыкантам, включая «советских» и «постсоветских» нобелевских лауреатов смешанного «беларуско-еврейского» происхождения. Вот, например, единственный Нобелевский лауреат за последние тридцать лет, «русский» академик, Жореса Алфёров, ародился здесь и учился в школе рядом с моим домом в Минске...

Татары тоже так давно жили в этих краях, что многие уже носили беларуские фамилии и даже Коран, как оказалось, их просветители давно перевели на старобеларуский язык, хотя и был он записан арабскими литерами.

Наши беларуские татары, или как их называют некоторые специалисты – «литовские татары», хотя правильное их было бы назвать – «литвинские», органично встроились и в политическую структуру Великого Княжества Литовского (ВКЛ), и в беларускую новую историю,

примерно в XV веке [3]. В средние века они, преимущественно, выполняли свое основное предназначение – охрану границ ВКЛ, мультиэтнического государства, где доминировал старобеларуский язык. И все многочисленные, известные в Беларуси, фамилии – Смольские (Смоличи), Вольские или Гембицкие внесли свой, неоценимый и, не оценённый до сих пор, вклад в общеполарускую культуру.

Первые годы новой, советской власти не изменили этой ситуации. Даже более того, двукратное провозглашение советской республики, сначала в форме Литовско-Поларуской ССР («ЛитПол», 27.02.1919), а через год, как ССРП (31.07.1920), давали надежду на спокойное сосуществование всех этнических групп в многонациональной республике. Не должно было бы, так многим казалось, измениться что-либо существенно и после вступления в «союзное государство» (1922 год), уже в виде БССР, ведь была принята конституция с «правом на самоопределение, вплоть...». К тому же, главный символ республики – герб, был окончательно утвержден «в центре» и просуществовал до 1937 года, а «Пролетарии всех стран...» на ленточках герба обвивали колосья ржи и дубовые листья на четырех официальных языках республики: поларуском, русском, польском и идиш.

Однако у новых, советских руководителей были свои специалисты – создатели и руководители «Института красной профессуры», где трёхлетнее обучение всем наукам, считалось достаточным для «советского профессора». Первый руководитель новой республики, председатель ЦИК, Мясникян (Мясников), расчистил пути для московской партократии, и «доказал», что «поларусы не являются самостоятельной нацией, поэтому принцип самоопределения им не подходит». А позже «красные специалисты» по истории и лингвистике, успешно продолжили эту партийную установку [4].

Письмо – донос в ЦК ВКП (б) Сталину «О поларусском языке, литературе и писателях» закрыл «в центре» сразу все вопросы о Беларуси и подготовил почву для нового этапа истребления интеллигенции республики. Приведу лишь несколько строк из этого малограмотного, но подправленного «красными профессорами», документа за подписью Секретаря ЦК КП (б) Белоруссии – Пономаренко, от 21.XI.38:

– «Враги народа, пробравшиеся в свое время к партийному и советскому руководству Белоруссии...

...Союз «советских» писателей Белоруссии, идейно возглавляемый десятком профашистских писателей (в том числе известные Янка Купала и Якуб Колас)...» и т. д.

После чтения этой омерзительной кляузы мне уже не надо было искать другие документы, подтверждающие рассказы моей мамы. Отец был дружен с Янкой Купала, лечил его, когда он находился под домашним арестом, ездил с ним когда-то на охоту, и знал многое...

О других национальностях (евреях, татарах) уже и не было речи, продержалась в прореженном виде до начала новой войны лишь «польская автономия имени Дзержинского», где проживала основная часть нашего рода, наши бабушки и дедушки со стороны мамы – Довнары, Валахановичи и Павловичи. Что с ними стало в «самой свободной в мире стране», желающие могут узнать из очерка «Охота на Доноров», размещенного в «Самиздате» [Прокопчук Артур, Интернет].

Очень скоро, на практике, населению края пришлось столкнуться с адептами русской, советской, партийной точки зрения на поларусов, и не прошло нескольких лет со дня «добровольного вхождения» в СССР, как вся советская власть в республике оказалась в руках «выдвиженцев» из Москвы.

«Дело Мясникянца» продолжили другие «товарищи из центра», «проявившие» себя в других регионах Советской страны, как например, Гамарник, из Дальневосточного крайкома партии или Гикало, понаторевший в партийных чистках в Узбекистане и Азербайджане. Как

они ни старались услужить Москве, «сталинскому ЦК», все они не пережили 38-ой год, когда для «укрепления национальных кадров» Лаврентий Берия направил в БССР своего ближайшего друга, тёзку и собутыльника, Лаврентия Цанава, подкрепив это назначение новым секретарём ЦК Беларуси – Пономаренко. Берия – этот мрачный демон НКВД-НКГБ-МГБ, практически завершил «советизацию» и «русификацию» Беларуси, закрыл, так называемый, «кадровый вопрос», по крайней мере, в правительстве БССР и других ведомствах республики.

Ленин, «как в воду глядел», что национальные меньшинства не защитит даже конституционная формула «выхода из союза (СССР) и самоопределение, вплоть до отделения», что он сформулировал в качестве установки по национальной политике для большевистских советских практиков национального вопроса, вроде Сталина. Но каких масштабов достигнет «борьба за чистоту рядов партии», даже он не мог себе вообразить, какие «наильники» оседлают в конце концов правительство молодой республики.

Ленин писал:

«При таких условиях очень естественно, что „свобода выхода из союза“, которой мы оправдываем себя, окажется пустой бумажкой, неспособной защитить российских инородцев от нашествия того истинно русского человека, великоросса-шовиниста, в сущности, подлеца и наильника, каким является типичный русский бюрократ» [5].

Чтобы не мозолить глаза новой власти со старыми сослуживцами, быстро перекрасившимися под алые цвета советских стягов, мой дед, Александр Павлович, ушел с железной дороги, сменил профессию, закончил, как тогда было модно, какие-то ускоренные курсы, и стал городским санитарным врачом. Маму, как «социально чуждую», в институт не приняли, пришлось ей отработать в «Минском статуправлении» техником-статистиком, чтобы получить какой-то необходимый тогда стаж для демонстрации лояльного отношения к новой власти. Одновременно мама немного поучилась в музыкальном техникуме, у неё были разные наклонности и способности. Бабушка Саша с утра до вечера сидела за швейной машиной «Зингер», «обшивала» семью, а зимой с санками выходила к железнодорожным путям товарной станции, где можно было найти дровишек для домашней «кафельной» печки. Эшелоны шли мимо дома на восток и на запад. Семья лишь только приспособилась к новой власти и её экономическим реформам, как наступила очередная разруха – голод 29—30 года.

За несколько лет до этого Павловичи выдали замуж свою старшую дочь Анну, мою любимую тётю Нюру, за Георгия Яротто, эстонца, работающего, как почти все наши родственники-мужчины, на Варшавской или Либава-Роменской, точно не знаю, железной дороге. Жорж успешно делал «советскую» карьеру и его направили учиться в Москву, но в Минск он долго не возвращался, несмотря на то, что появилась на свет его дочь Майя. А тут наступил год «великого перелома», а за ним и «великий голод» – результат этой переломной «коллективизации».

Эти годы хорошо известны по многочисленным публикациям, воспоминаниям, свидетельствам очевидцев. Скажу только, что «дом на Дзержинской» стоял вблизи вокзала в Минске, а еще одна моя родственница, по другой линии, в то время жила у киевского вокзала в Москве, так что насмотрелись они такого, что потом уже не вздрагивали при показе советской кинохроники о немецких лагерях смерти. Не буду вдаваться в подробности, только вспомню один эпизод, непосредственно связанный с хроникой нашей семьи. А заодно станут более ясными образы белорусских женщин, женщин нашей фамилии, облик моей светлой и сердобольной бабушки, которая никогда не могла пройти мимо чужого несчастья и горя.

Бабушка Саша не только «обшивала» семью, кормила и обстирывала детей и уже появившихся внуков (точнее, первую внучку, мою двоюродную сестру Майю). Она еще и «хранила очаг», в прямом смысле слова, то есть «добывала» дрова и топила в зимнее время изразцовую печь, которая оказалось довольно прожорливой. Дрова в те зимы были большим дефи-

цитом в Минске, может не таким, как в Москве (помните у Маяковского – «больше всех дорогих даров я помню морковь драгоценную эту и пол-полена березовых дров»). Эти «драгоценные» поленья, зимой, на санках, бабушка привозила с железнодорожной станции, где знакомые по району соседи-кочегары иногда сбрасывали ей несколько чурочек с паровозов. Там же, в очередной свой поход за дровами, с санками, бабушка наткнулась на сброшенного, как поленья, с поезда, в беспомощности (наверное, думали – тиф), лежащего на снегу человека. Рядом, со смерзшимися от соплей носами, скулили двое мальчишек. Бабушка с их помощью взвалила уже заочеченного человека на санки и привезла его домой. Дома он «оттаял» и оказался немцем, Пецольдом Георгием Эмилиевичем, преподавателем немецкого языка из Республики Немцев Поволжья, из той республики, которой мы до сих пор обязаны «сарептской» горчицей. Там от голода уже умирали тысячи, скончалась и его супруга, и Георгий Эмилиевич собрал своих мальчиков, получил какое-то разрешение и двинулся на историческую родину, в Дрезден, откуда были родом все Пецольды. В дороге он заболел, потерял на пути к Минску сознание и опомнился уже в жарко натопленной (дрова-то все-таки достали) комнате, где его натерли, разогрели, влили что-то живительное в рот и уложили в чистую постель. Дети Пецольда «старого», как его будут в дальнейшем называть в нашем доме, в отличие от Пецольдов «малых», Макса и Эмиля, так и остались под покровительством бабушки. Позже Георгий Эмилиевич Пецольд стал преподавателем немецкого языка, профессором Института белорусской культуры (Инбелкульт), преобразованного в Беларускую Академию Наук. Даже получил квартиру в первом, выстроенном для профессуры, доме объединения «Камунар-Асветнік».

Георгий Яротно так из Москвы и не вернулся и через некоторое время тетя Нюра (Анна Нестеровна) вышла замуж за Макса Георгиевича Пецольда, так в нашей семье появилась и немецкая фамилия, принесящая потом много горя всей семье.

Поляки и немцы особенно раздражали советскую власть. Почти все Пецольды были подвергнуты репрессиям уже в 30-е годы, Георгий Пецольд («старый») после трёхлетнего тюремного заключения был расстрелен в 1941 году в Пятигорске вместе со второй женой, Александрой Августовной, которая тоже была преподавателем немецкого языка. Их имена занесены в «Книгу памяти жертв коммунистического террора» по Ставропольскому краю, ониполнили списки миллионов репрессированных по всей стране. Макса Георгиевича Пецольда «забрали» в 1941 году из Орши, где он работал главным хирургом городской больницы, но расстрелять из-за быстрого наступления немцев не успели, их вывезли в Саратов. Так ему удалось выжить и позже, после этапирования в Карлаг (Джезказган), прожить 16 лет в лагерях и еще один год на свободе после массового, «Хрущевского» освобождения из лагерей в 1956 году. Но меня занесло уже к началу другой войны, а надо вернуться немного назад...

С вынужденным опозданием в три года, мама все-таки в 1931 году поступила в Медицинский институт и на втором курсе вышла замуж за моего отца, Прокопчука Андрея Яковлевича. Институт мама заканчивала уже в новой квартире, в «Доме специалистов» на углу Советской и Долгобродской улиц, куда они все переехали в 1934 году. В 1936 году во время сдачи последней сессии мама родила меня и смогла получить «Диплом с отличием», по специальности «врач-рентгенолог». Здесь же, на «Золотой горке», мы слышали о начале одной войны, финской, потом другой, и отсюда удирали из-под бомбёжки, жарким вечером, 26 июня 1941 года, взяв с собой, что было полегче, в руки, «на восток» по Московскому шоссе. Мне дали нести пустой чайник.

Бабушку Эмилию со «старым Лобачем» к этому времени «вступили в колхоз», где она совершала, так сказать, «трудовые подвиги». В войну бабушка осталась на оккупированной территории, как и всё её село, как-то пережила войну в своей хате с соломенной крышей, которую касались ветви разросшихся кустов «персидской» сирени. А так как была учительницей, то

спаслась и от «раскулачивания» в 30-е годы, и от немцев в силу преклонного возраста, и даже не попала после войны в списки «неблагонадёжных», оказавшихся в немецком окружении. По её рассказам, немцы заходили в село реже партизан.

Мои родные женщины, – бабушки, мама и тетка, – горожанки, не соприкоснулись в 30-е с «раскулачиванием», и борьба большевиков с «нацдемовщиной» в БССР не затронула их, как мне ранее казалось, по причине их «другой специализации», медицинской. Советские блюстители порядка расправлялись в конце 20-х, начале 30-х, в основном, с носителями чуждой им культуры, любой религии, отличной от православия, литературы и поэзии на другом, не русском языке. Для этого была еще «подработана» для внешнего мира формула «об единстве русских, малороссов и беларусов», что закончилось к концу тридцатых годов практически поголовным истреблением беларуской культурной элиты и постепенным вытеснением беларуского языка из всех сфер общественной жизни. Для усиления «роли русского языка» были проведены три реформы беларуского правописания (первая в 1925—1926 г.г., неоконченная – 1930 года и реформа 1933—1934 года). Причем новые нормативные правила (их было 86) настолько исказили язык, что его уже трудно было отличить от русского. А за это время советские власти, в силу «революционной необходимости», под предлогом борьбы с «нацдемовщиной», истребили почти всех научных работников в области образования и специалистов-языковедов. При этом были изъяты и уничтожены большинство картотек беларуского языка, собранных специалистами, а к оставшимся архивам был запрещен доступ, что продолжается и в наши дни. «В один из периодов 1931 года в Институте языкознания работало 6 сотрудников, причём знающих языковедов практически не осталось. Современные белорусские филологи подчеркивают тот факт, что более 20 новых правил, введенных реформой 1933 года, искажали установившиеся нормы беларуского литературного языка путём искусственного, неестественного и принудительного наложения на них правил русского языка (Википедия, Реформа белорусского правописания 1933 года).

Я думал, что хотя бы медицину, медицинских работников, врачей и медсестёр, которых так не хватало в республике, тогда не затронули репрессии. Отца, к 37-ому году уже профессора, доктора медицинских наук, члена-корреспондента АН БССР, забрали как-то летом (со слов мамы), «чекисты», но он вернулся очень скоро от следователей из НКВД, сказав дома, что «произошла ошибка». Мать (врач-рентгенолог) и тетку вообще не трогали, а дядю, хирурга, Пецольда, как немца, увезли в лагеря только с началом войны 41-года.

На снимке тех лет я вижу счастливые лица. Или они ещё не подозревают о своей судьбе, не знают, что творится рядом с ними, не слышат, что уже стучатся в соседние подъезды, а «черные вороны» (в основном, «эмки» – первый советский автомобиль, «Молотовец», ГАЗ-1) неслышно подкрадываются по ночам к намеченным жертвам?...

Но вот, в Энциклопедическом справочнике Леонида Морякова, «Рэпрэсаваныя медыцынскія работнікі Беларусі 1920—1960», вышедшем в 2010 году, приведены персональные данные о жертвах сталинизма в БССР в сфере медицины и ветеринарии, в количестве более 1500 человек, и половину составили беларусы. Среди них около 500 врачей и 200 медсестер, в том числе и наши родственники.

Можно предположить, что моей маме (врач-рентгенолог) и тетке (медсестра) просто повезло тогда. Все более или менее образованные люди Беларуси, педагоги и врачи, инженеры и литераторы, актеры, художники и музыканты, в том числе и революционные деятели, участники народно-освободительных партий и движений, даже побывавшие в царских тюрьмах Российской империи, прошли свой «крутой маршрут» в обновленных чекистами застенках. ЧК Дзержинского, по не совсем понятным причинам, усердствовала в отношении прежних лидеров борьбы с царизмом. К беларусам, а также литовцам, и особенно полякам, верные слуги «железного Феликса» снисхождения не испытывали. Представляю, что бы ещё натворил

в Беларуси этот «верный ленинец», если бы дорвался до высшей власти. Его, повидимому, вовремя убрали конкуренты.

Мой дед, Александр Павлович, был вхож в семью Дзержинских, образованную, интеллигентную, радушную, дружил с его родными сестрами и братьями, вспоминал и посмеивался над кем-то из братьев Дзержинских, кто так и не смог научиться делать «голубец» в мазурке на званых вечерах в их доме. Семья Дзержинских, в которой было восемь детей (Феликс – четвертый ребенок), позже старалась не вспоминать о «достижениях» мятущегося Феликса и хотела сохранить с советской властью нейтралитет. Помогло это им или нет – не знаю.

Но вернемся от истории жизни моей семьи, истории моих родных, к основной теме, начала нового столетия, XX-го, которое не может, к сожалению, нас порадовать. Правда, не многим отличилось и «новейшее время». А моё отступление от общей темы было необходимо, так как судьба моей семьи – неотъемлемая часть судьбы всего белорусского народа. И, конечно, в этом разворачивающемся сериале, я отдельно скажу о них, о моих белорусских женщинах, которые, несмотря на столетия политического, религиозного и культурного геноцида, попытались сохранить свою историю, язык, традиции, стали нравственными ориентирами для нас...

Минск – 1939 год

Помнится смутно, что это очень давно, еще до войны, в Минске, вернее, до настоящей войны. Настоящая, коснувшаяся всех нас, будет позже. Похожие на чьи-то два уха, черные громкоговорители на столбе в громадном дворе «Дома специалистов», что на углу улиц Советской и Долгобродской. Тревожные маршевые песни и голоса из громкоговорителей с повторяющимся словом «сводка». Под окнами нашей квартиры, что на четвертом этаже, во дворе, длинная очередь. Мне кажется, что там все время стоят люди и чего-то ждут. Часто оставляет меня одного и я, навалившись животом на подоконник, смотрю вниз на нее, на очередь.

Война где-то далеко, с белофиннами. Все, что я о ней помню – это только слово «белофинны» и еще песня, запомнившаяся на всю жизнь: – «так-так-так, – говорит пулеметчик, – так-так-так, – говорит пулемет». По-моему, никому не было страшно, мне наверняка, так как я хожу в «испанке» – синей пилотке с желтой кисточкой и с противогазом через плечо.

У нас очень большая пятикомнатная квартира, квартира моего отца – академика Андрея Яковлевича Прокопчука, которого я никогда не вижу и не знаю, какой он. Квартира с длинным изломанным коридором и длинным, таким же изломанным, угловым балконом, выходящим на разные стороны дома. По этому коридору и балкону я гоняю на трехколесном велосипеде с плоским, деревянным, окрашенным в желтое, сиденьем. Во дворе нашего дома кладбище и костел (Св. Роха), вокруг которого иногда на коленях ползают старушки.

Если я во дворе с велосипедом, то я езжу за ними и по дорожкам кладбища. А еще на кладбище черные и белые памятники и склепы, в которых, говорят мальчишки, бывает и золото, спрятанное под могильными плитами и постаментами надгробных памятников. Кладбище начинают рушить, разрывать, раскапывать, и один раз мне выпадает счастье видеть, как гранитный постамент сбрасывает трактор. Когда рабочие с трактором уезжают, я нахожу в крошках разломанного цоколя что-то, не золото, но не менее ценное, по нашим дворовым понятиям – расплюснутый свинец.



Костел Св. Роха в Минске сегодня (фото автора)

Громкоговорители, очереди, старушки на кладбище, заколоченный костел, трехколесный велосипед, библиотечная комната, и удаление зубов, самое страшное, – вот, пожалуй, все из того времени, что я помню сам. Остальное мне рассказывается позже мамой или бабушкой, и это все со словами «до войны». Да, еще, почти всегда, мамин голос, ее пение – романсы «Растворил я окно» или «Санта Лючия»...

Еще в памяти иногда появляется военный летчик – «квартирант», как его называет бабушка. Я с ним «дружу». У него учебники с картинками по управлению самолетом. Я буквы уже все знаю, но читать еще сам не пробую. В этих книгах что-то настоящее, «мужское» – бабушке этого не понять. Всякий раз, когда пролетает самолет над нашим домом, она вздрагивает и наклоняет голову.

Дядя Костя, так я зову нашего квартиранта, возится иногда со мной, читает мне из лётных учебников, как надо сажать самолёт – «на три точки», как держать штурвал, чтобы начал пикировать. Шасси, трасса – в этих словах мне слышен ветер, поющий в крыльях самолета. Я хожу по квартире в летном шлеме, с противогазом в сумке через плечо. Противогазы выдали для чего-то всем жильцам нашего дома.

Есть еще очень яркие, но разрозненные, не привязанные к определенному времени, картинки памяти. Например, крыса, пойманная щипцами под роялем кем-то из наших знакомых, собравшихся послушать мамино пение. Серенькая, юркая, как мышь, заводная машинка. Подарок мне, может быть, ко дню рождения или на Новый год. Елки уже разрешили ставить, но я помню, что боялся елки, а вот запах тех мандаринов, которые вешали на нее, помню до сих пор.

Или вот, большая, черная машина «эмка», которую все толкают, а она медленно сползает по песчаному обрыву в Днепр. И Лорд, овчарка, на которую можно сесть верхом. Только это уже не Минск, где живем мы, а Орша, куда мы с мамой приехали на лето к тете Нюре и дяде Максусу. Здесь еще Том и Майя – мои брат и сестра. Они оба старше меня, особенно Майя, но как они выглядели тогда, в предвоенное лето, не помню.

И еще одно осталось в памяти – первое посещение настоящего театра – балет «Лебединое озеро»... Очень было страшно в последнем акте...

Лето 1941-го, мы – беженцы

Первые дни войны пахнут пылью, древесной трухой и углем – это связано с налетом немецких самолетов на город и прямым попаданием бомбы в наш дом. Нас откапывают из подвала, куда мы спустились после объявления «воздушной тревоги» и отсиживались до окончания налета. Было страшно, темно и трудно дышать, но все окончилось благополучно. Откопали. Потом запомнилось зарево под вечер, во все небо – горело где-то в городе после бомбежки.



Наш дом, «Дом специалистов» на углу Советской и Долгобродской улиц, летом 1941 года (фото из архива Леонида Морякова)

Наша семья уходит из горящего Минска. Дедушка – Александр Федорович Павлович, «деда», как зову его я, принимает решение, и мы 24 июня, вчетвером, уходим из родного дома, захватив с собой только самое необходимое. Куда – знает только он. Многие жильцы дома остаются, на что-то надеются. Мы «удираем» от немцев, подгоняемые налетами, бомбежкой и общей паникой. Дед идет во главе «колонны» с топориком за поясом, за спиной у него, скрученные рулетом одеяла. Рулет перевязан ремешком. Потом мама с сумкой в руке, с маленьким чемоданчиком, и я с серым, эмалированным чайником, прослужившим нам все военные годы. Выходим к вечеру на Московское шоссе и идем с небольшими остановками до темна. Я быстро устаю, мне ведь только пять лет исполнилось, но чайник не отдаю. Еще какие то отрывочные картины, как из кино.

Вот, мы забегаем в первый попавшийся на пути двор, прячемся от самолетов, ревущих над нами. Пронзительный звук, похожий на звук бабушкиной швейной машины, будто эта гигантская машина падает на нас с неба. Бабушка нагибает мне голову и заталкивает под какие-то доски, сваленные грудой у стены дома. Снова тишина, налет окончен, все вылезает из своих укрытий. Игла падающей с неба машины прострочила доски рядом с нами. Я засовываю палец в дырочки – они еще теплые. Мы уходим все дальше от дома. Это уже четвертый день от начала войны. Поздно вечером, почти в темноте, нас нагоняет колонна красноармейцев на машинах – это отступающие части. Нас подбирают, сажают в переполненный солдатами грузовик и с чайником в руке, я засыпаю.

Утром следующего дня мы всё ещё трясемся в кузове машины, переполненной солдатами и другими «беженцами», удирающими от войны. Ехали мы ночью или нет – не помню. Все время колонна наших грузовиков обгоняет группы людей, плетущихся с разным домашним скарбом по обочинам. Наша машина уже никого не подбирает, в ней нет ни одного свободного места. Ясное небо, тепло, лес по обеим сторонам дороги убегает назад, изредка промелькнет

поле с колосющейся рожью. Словно мы на прогулке в праздничный день. Только слишком тесно в грузовике и слишком много красноармейцев.

Вдруг колонна с хода останавливается. Все прыгают с грузовиков и рассыпаются в стороны. Меня снимает с борта солдат, и мы бежим в сторону леса. Наши бегут следом.

– Ложи-и-и-сь!

Кто-то за руку валит меня, воздух тяжелеет и придавливает к самой земле. И звуки какие-то особенно резкие, колющие, ударяющие по лицу и сдавливающие голову. Долго ничего не слышно из-за звона в ушах. Все окончилось, люди поднимаются, одна из машин нашей колонны горит. Как-то опять рассаживаемся и едем дальше. Через час опять налет и снова все повторяется.

Этот день был очень длинный. Так, с остановками, перебежками, добираемся до Смоленска, где нам первый раз за несколько дней дали горячую еду, накормили. Здесь в Смоленске из отдельных, разрозненных групп людей – «беженцев», – новое слово первых дней войны, – нас собрали и посадили в сформированный железнодорожный состав из товарных вагонов – «теплушек» и отправили нас дальше, на восток.

Да, еще до Смоленска, в который мы попадаем только на седьмой день войны, мы оказываемся в Орше, где живет половина нашей семьи – дядя Макс, тетя Нюра и Том с Майей. Здесь мы не задерживаемся. Дом, в котором они жили, исчез, на его месте только громадная воронка и обгорелые остатки деревянных стропил. Бабушка и мама молча стоят около этой ямы. Можно предположить, что они чувствовали в этот момент.

Сейчас мне кажется, что до Горького мы добирались целый месяц, а может, так оно и было. Поезда через Москву не пропускали, через нее шли только военные эшелоны, мы стояли иногда по несколько дней на десятках разъездов, полустанков и станций. С натугой, два паровозика (их называли «овечками»), тащили бесконечный состав через страну, пылающую от пожаров, взъерошенную, постепенно приходящую в себя.

Следующая яркая картина – Волга, вот это река! Мост через нее такой, что не видно его конца. Пароходы с колесами по бокам шлепают по воде, гудят важно. Мы живем в школе около набережной. Точнее живем в спортивном зале этой школы. Кроме нас, здесь еще около сотни, наверное, человек из разных мест страны. Много детей. У каждой семьи свое место, огороженное кое-каким скарбом. Я наше легко нахожу по желтому фанерному чемоданчику. Здесь через несколько дней я заболеваю, проваливаюсь в горячий бред, а когда прихожу в себя, то оказывается, что мы собираемся и едем дальше на Урал, в город Соликамск. А главное – на пароходе, сначала по Волге, а потом по Каме, мы отправляемся туда, где нам предстоит переждать все военное время. Что война быстро окончится – не вызывает ни у кого сомнений. Путешествие короткое – несколько дней. Я с сожалением расстаюсь с пароходом, с детьми, с которыми успел познакомиться, с величавой Камой.

Урал, Соликамск. 1942 год

Пароход пристал к деревянному причалу. Наш первый ночлег в какой-то избе на косогоре над рекой запомнился тем, что «деда» и мама всю ночь зажигают зачем-то спички. На утро, кроме валяющихся везде спичек, я вижу на полу невероятное количество обгорелых клопов. Мама заявляет, что «не останется здесь больше ни на один день». В этот же день мы перебираемся в другой дом, уже почти в городе, дом деревянный, но большой двухэтажный, сложенный из толстенных бревен. Адрес помню все жизнь – улица Труда, номер 45. В доме живет одна семья с очень, по-моему, смешной фамилией – Гуляевы. Нас селят на втором этаже, на «антресолях». В огороде еще один дом, небольшой, оказывается – баня. Около бани гуляет коза в глубокой задумчивости и еще во дворе суетится петух оранжевого цвета, явно недовольный появлением новых людей и невзлюбивший меня с первого взгляда. После первого же столкновения с этим оранжевым диктатором нашего двора, закончившимся моим позорным бегством, я выхожу во двор, только убедившись, что его поблизости нет.

Еще во дворе появляется собака, по кличке Каштан, совершенно черная, с блестящей, завивающейся крупными локонами шерстью. Это мой первый друг в Соликамске. Основой нашей прочной дружбы является для начала общая ненависть к петуху, этому оранжевому чудовищу.

В сарае вздыхает красивая, впервые мной увиденная не на книжной картинке, корова Люська. Она спокойная, теплая, пахучая, ее приятно гладить по шее, бархатистой, чуть влажной. К ней особое отношение у всех домочадцев. С ней говорят, употребляя только ласковые слова. Не то, что с козой, которую даже столетняя бабка Афоня шпыняет ногами, приговаривая: «у-у, – пучина ненасытная». Мне козу жалко, хотя, как оказывается, она не дает молока, а от Люськи по несколько раз в день надаивают по ведру пенящегося, кремового молока. После вечернего надоя, молоко сливают в зеленую чашу машины, – называется «сепаратор», – и все по очереди крутят ручку. Из сепаратора потом извлекают комоч масла, чуть кисловатого, но такого вкусного... Сколько стоит такое масло, я узнаю значительно позднее.

В семье Гуляевых одни бабы. Бабка Афоня, всегда босиком, глаз не видно, так глубоко они запрятаны, могучая Марья Ивана – хозяйка дома, и две молодецкого вида девицы – Верка и Томка. Верке лет двадцать, Томке – шестнадцать. В Томку я, по-моему, влюбляюсь. Нашу любовь прервет моя очередная болезнь, на этот раз серьезная.

Мне вот-вот исполнится шесть лет, и я чувствую себя уже мужчиной, хотя бы потому, что в доме одни женщины. «Деда» работает где-то километров в десяти от города, в «лагере» (много позже узнаю, что такое Усольлаг), там он живет и ночует, и только по воскресным дням приходит к нам. Где мужики Гуляевы, не знаю, но с такой фамилией дома не усидишь. Все возрастающему во мне чувству собственного достоинства мешают только столкновения с петухом, который на мне вымещает все обиды, нанесенные ему Каштаном.

Бесконечной длины уральские вечера. Короткие дни, проходят в ожидании сводок «от советского информбюро», голоса из черной, бумажной тарелки громкоговорителя, в ожидании мамы, возвращающейся только в ночь из эвакогоспиталя, ожидании снега, который, говорят, скоро выпадет.

Наконец настает утро, когда свет, как молоко, льется в окна второго этажа наших антреселей. Снег так валит, что нельзя различить отдельных снежинок. Ничего нет на земле белее, чем этот снег и, когда он перестает идти к вечеру, то чтобы выйти из дома, лопатами проделывают проходы на улицу. Из каждого дома на улицу прокладывают снежные коридоры, а перед домом вырастают валы в человеческий рост от сброшенного с крыш снега. Снег меняет знакомую улицу, очертания домов, подсвечивает ровным матовым светом небо, засыпает до крыш низенькие бани в огородах, приглушает все звуки, как будто светлеет день и вечер.

Бесконечной длины темные уральские зимние вечера. Книги – единственное спасение для нас. Мама приносит их сразу целой связкой на неделю из библиотеки госпиталя, где она работает военврачом-рентгенологом. Читаем по очереди я и бабушка. Я уже давно читаю сам и не люблю, когда вмешиваются в мое чтение. Читаем все, что попадает в наши руки, все, что приносит в дом мама или кто-либо из «эвакуированных». У Гуляевых книг нет, может быть, они и читать не умеют.

Я прочитываю «Холодный дом», за ним мемуары Чарской, что в них было не помню – потом изумительный Марк Твен, несколько томов подряд, и вдруг попадаете подшивка журналов Нива, начиная с 1905 года. С «Нивы» начинается мое увлечение географией и историей. Я потихоньку, чтобы не заметили, вырезаю из журнала карты военных действий в русско-японской войне, потом начинаю рисовать карты сам. Будущее определено – я стану путешественником, тем более, что еще появляется книга о Куке. География, географические карты, без этого нельзя путешествовать. Все по тому же журналу «Нива», я начинаю тщательно изучать страны мира, делаю выписки и рисуя карты. Слушая сводки последних известий «от Советского Информбюро», я составляю карту продвижения немецких войск. Они уже около Москвы и Ленинграда...

Вечерами мы сидим с Гуляевыми на первом этаже дома, в «зимнике». Здесь тепло. Мы спускаемся к ним с «антресолей» к жарко натопленной, громадной печке. У нас наверху печки нет. Мы сидим вокруг стола. Я с коленями на табурете, навалившись грудью на край стола, читаю при свете «плошки» – фитилька, плавающего в стеарине. Окна плотно закрыты шторами и заклеены крест-накрест полосками бумаги – «светомаскировка». Немцы у самой Москвы, взрослые говорят о налетах немецкой авиации. Мы с бабушкой читаем, а Гуляевы?

Я часто спускаюсь один с наших антресолей, со второго этажа, откуда вниз ведет скрипучая, с резными перилами, лестница в два пролета, спускаюсь погреться внизу около печки. Картина внизу в «зимнике» всегда одна и та же. Бабка Афоня сидит у самовара, всегда на одном и том же месте. Прямо перед ней на столе, дощатом и белом от частого мытья, лежит горсточка брусники. Бабка узловатыми, сухими и тонкими пальцами берет одну брусничину, повертит ее со всех сторон, как будто собирается клонуть, и, не разжимая рта, проталкивает ее сквозь плотно сомкнутые губы, от которых во все стороны расходятся лучиками морщинки. Потом из кружки наливает в блюдце чай и, с уважением, дует на него. Пьет бабка маленькими глоточками, но часто. Одно блюдце чая – одна брусничина. После каждой кружки бабка цепенеет, не то спит, не то думает о прожитом. Она неподвижна, как ящерица на солнце. У нее и руки похожи на ящериц. Бабка пьет чай, или что там у нее в самоваре, до позднего вечера. Почему-то самовар для нее ставится отдельный. Что она ест – неизвестно, этого я ни разу не видел. Горсть брусники всегда лежит перед ней, не уменьшаясь.

Марья Иванна, хозяйка, как обычно, вертит ручку сепаратора и его ровное жужжание усиливает всеобщую дремоту, которой укутан теплый, пахнувший деревом дом. Девки, закатив глаза, позевывают. Маятник ходиков качается все медленнее и временами, кажется, застывает. Оживление наступает, когда хозяйка, управившись с сепаратором, горшками в печи, усаживается за стол со стороны, противоположной бабке Афоне, берет в руку нож и гребень и подзывает девок, которые по-прежнему сидят, прислонясь друг к другу, и тихонько, тоскливо, вполголоса напевают с полужакрытыми глазами. Девки, вроде бы нехотя, а на самом деле, с плохо скрываемым удовольствием, подвигаются по лавке, не отрывая от нее свои мощные зады, к матери. Одна из них кладет Марье Иване голову на колени и замирает.

Когда я первый раз увидел их за этим занятием, то ничего не понял. Хозяйка расчесывает гривы девок деревянным гребнем. Берет в рук нож и кончиком ножа прижимает что-то к ногтю большого пальца свободной руки. «Т-р-к», – щелкает в волосах, – «т-р-к». Девка жму-

рится и кошкой потягивается от удовольствия. Кажется, сейчас замурлычет. Все трое опять запевают что-то мне незнакомое... Ходики постукивают, печка потрескивает, в доме тепло, даже не верится, что снегу уже вполовину окна. Столовый нож в руке Марьи Ивановны при мерцающем свете плашек усугубляет нереальность всей этой сцены, подсвеченной керосиновой лампой (у нас – «плошка»), и изредка озаряемой вспышками затухающей печки, у которой сейчас приоткрыта немного заслонка. Бабка Афоня нацеживает из своего самовара очередную чашку чая. Марья Ивановна «бьет у девок вшей» – это мне потом объясняет бабушка, она все знает и все помнит про «старое время». Вши и война всегда вместе – так уж заведено, вздыхает она. А войн она перевидала немало.

Вшей я раньше не видел, но теперь знаю, что это такое, у самого бывают. Их иногда находят и в моей голове. Вечерами все, в том числе и «эвакуированные», может быть, во всем городе, как и мы, совершают этот ритуал гражданской войны с насекомыми.

Болезнь

Что-то стала у меня побаливать нога, причем с каждой неделей все сильнее. Еще в середине лета я спрыгнул с крыши сарая, но как-то неудачно, и ушиб ступню. Похромал, похромал да и забыл. А сейчас ступня мне все чаще напоминает об этом. Боль начинает отдаваться и в колене.

Серое, холодное утро. У нас на антресолях всегда холодно, печки здесь нет. Я лежу с полужакрытыми глазами, хочу подняться, но не могу. Обычно утром так холодно, что не хочется вылезать из-под одеяла, а сегодня мне почему-то жарко, пересохло во рту и хочется пить. Сельтерской бы сейчас. Забываю уже ее вкус, помню, как она щекочет язык и приятно колет в нос.

– П-и-и-ть, – я хочу позвать бабушку и не могу, не могу произнести ни слова. Глаза и лоб ощущаю по жжению, а остального тела как будто и нет. Хочется открыть глаза, но мешает режущая боль от света. Слышу чьи-то голоса, не могу только разобрать – это мама или бабушка, голоса сливаются, переходят в неясное бормотание, какое-то постукивание, скрип саней. Меня раскачивает из стороны в сторону, вот-вот упаду, мне страшно, но крикнуть не могу. Стук, скрип, бормотание стихают, тишина гулом в ушах и ничего больше. Из тишины и угольно черной пустоты иногда выплывает яркий, раскаленный шар – это, наверное, солнце. Оно колыхнется, то приближается, то удаляется, как будто дышит, сплюсчивается под собственной тяжестью, приобретает форму груши. Внутри этой груши начинают образовываться два новых шара насыщенного желтого цвета. Цвета густеют до оранжевого, меняются на малиновый, шары увеличиваются и отделяются друг от друга, связанные тонкой перемычкой. Два новых солнца расходятся все дальше, перемычка становится тонким волоском, цвета шаров багрово-красные, они мерцают, как уголь черной ночью, в потухающей печи. Еще немного и тонкий волосок-перемычка лопнет, и тогда оба солнца потухнут – это конец. Конец всему и мне тоже. Все исчезает, и я погружаюсь в пустоту.

Этот сон, или бред, или еще что-то, как давно забытое воспоминание, я вижу много раз – десять, сто, тысячу – не знаю. И ничего не помню в промежутках между этими снами. Но откуда-то я знаю, что, если волосок-перемычка порвется, то это конец всего – смерть. Я смотрю во сне или брежу на этот тонкий, красно-желтый волосок, соединяющий два багровых шара-солнца. Волосок натягивается до предела, вибрирует, я слышу звуки этой вибрации и не могу отвести от него взгляд, словно хочу взглядом удерживать его и шепчу что-то про себя... Снова все исчезает, пустота, будто лежу в мешке с углем. Душная пустота...

Я просыпаюсь от холода, озябла рука, лежащая поверх одеяла. За окошком – снег и солнце. Очень много снега и столько же солнца, я это вижу чуть скосив глаза. Голову повернуть трудно и руку сам не могу спрятать под одеяло, но ощущение хорошее – странной легкости во всем теле и свежести всего – воздуха в светлой комнате, простыни, выбеленных стен и потолка. Чистая, небольшая комната, незнакомая мне, в четыре окошка по двум стенам. Не наши, темные антресоли у Гуляевых. Скосив глаза в другую сторону, вижу еще три кровати, на двух из которых лежат. Кто – не видно, так как все завернуто в одеяла, Третья, кровать у моих ног – пустая. Как я сюда попал, сколько времени я здесь, где наши, бабушка, мама? Снег за окном, все еще зима, год не прошел. А Новый год, елка? Все было, наверное, без меня. А мне на Новый год дедушка лыжи обещал...

Ближе к вечеру приходит мама, и постепенно я восстанавливаю все, что произошло за то время, что я «выпал» из жизни.

Я проболел всю зиму, пропустил такой, ожидаемый мною, Новый год, и сейчас нахожусь в детском, туберкулезном санатории. Название моей болезни очень длинное и, кроме слова «туберкулез» там еще есть другие, но я их запомнить не могу. Много позже я узнаю, что у меня «туберкулезная интоксикация», туберкулез костей. Санаторий – это несколько деревянных, одноэтажных домиков, стоящих в глухой тайге, за несколько километров от Соликамска. Больных немного и все «эвакуированные». За нами, тремя тихими малышами, от которых, как говорят, «только глаза остались», ухаживают немногословные няни. Ходят они неслышно. Иногда заходит врач и прослушивает каждого из нас деревянной трубочкой, низко наклонившись и приставляя трубочку к разным местам груди и спины. Врача не помню, какой он, но зато отчетливо помню, что у трубочки обломан краешек и острый угол облома неприятно врезается в тело. Когда он слушает спину еще ничего, терплю, а вот спереди, особенно под сердцем, все кажется, что трубка проколет грудь. Здесь вообще часто болит и колет и становится трудно дышать. Хочется вдохнуть полной грудью, но вдохи, как зевки, не наполняют легкие воздухом, потому что от вдоха боль усиливается. Иногда при вдохе, словно рвется что-то под сердцем, где-то у ребер и только тогда можно сделать полной грудью новый вдох. Мама приходит почти каждый вечер и приносит завернутую в шерстяной платок, чтобы не замерзла, зеленую бутылочку молока от хозяйкиной Люськи и «шаньги», уральские ватрушки. У самого горлышка бутылки, пока мама идет ко мне, сбивается круглый комочек вкусно пахнущего масла. Я лежу еще около месяца, к концу которого начинаю сам подниматься на кровати, без помощи няни. С ногой плохо, хотя мне ежедневно делают ванночки и накладывают компрессы. Нога ноет, а где-то в ступне, между пальцами покалывает и мокнет. Зато я могу уже повернуться к окну и сквозь проталины в морозном узоре, сквозь тонкий слой льда видеть причудливый, яркий мир, искаженный ледяными разводами. Прямо напротив окна заснеженная ложбина уходит в тайгу, обступающую наши домики со всех сторон. Ложбина разрезает этот сказочный лес и где-то в его глубине поворачивает и исчезает. Я целыми днями смотрю на лес, в ложбину, высматриваю – вдруг что-то появится в этом снежном покое, но ничего вокруг не происходит. Тайга как будто замерзла, оцепенела, ждет лета. Я ни разу не видел там ни одного человека. Мне не скучно, мне многое надо обдумать, хотя я быстро устаю, даже от мыслей. На лес я могу смотреть и ждать, ни о чем не думая. Это мой отдых, когда я устаю от мыслей. К одной из них я возвращаюсь постоянно – это мой сон, смысл которого я хочу понять, и который не забывается на всю жизнь. Солнца, рвущиеся на части – что это? Может быть, я там, где-то в пустоте, за пределами жизни, увидел тогда неизбежное... Смутно вспоминаю, что рядом со мной лежал раньше кто-то, которого унесли. Что это было, почему он не вернулся, – умер? Я даже не знаю, как его звали. Нас трое, значит, новый появился, пока я находился в бреду. Мы не разговариваем, только смотрим друг на друга и, кажется, понимаем, о чем мы молчим. У каждого из нас есть свое окно, в котором он видит свой, совсем не похожий на другие, мир. Хорошо так лежать, в этой тишине и в этом свете из окна, все усиливающимся с каждым днем. Хорошо думать обо всем, хорошо жить, ждать чего-нибудь. А тот, которого унесли? Что его не будет никогда? Никогда больше? Никогда, всегда – я еще не понимаю этих слов, не могу различить их, соотнести с чем-нибудь, что уже мне знакомо. Чтобы понять одно, надо знать и другое. Всегда – это земля и небо, день и ночь, снег на деревьях зимой и дожди летом, и люди, все новые и новые. Солнце светло-желтое, как желток яйца, высоко в небе над головой или вишнево-красное, сплющенное, над лесом. Оно ведь никогда не потухнет – ни в моем бреду, ни в моих снах. А «никогда» – это угольная пустота, из которой выплывал кровавый, раскаленный шар, рвущийся на части, и я напряженно всматривался в тоненькую ниточку, натянутую струной, и боялся, что она лопнет, и все навсегда исчезнет. И шар, и свет, и мир и я... Издалека слышен, через оконные рамы, звук, он все усиливается, и я вспоминаю, что слышал такой раньше, когда мы уходили из горящего Минска. Тогда, сразу же после такого ноющего, длинного звучания, по земле скользили крестообразные тени, оглушительные звуки сдавли-

вали голову, а на кузовах машин, на досках заборов, на стенках товарных вагонов оставались строчки дырочек. Звук такой же, но мне не страшно, так вокруг все спокойно, и нет людей, лишь стоит застывший, в сугробах, лес. Я смотрю туда, где ложбина поворачивает в глубину леса. Может быть, я сейчас увижу что-то необычное. И правда, из глубины леса выскакивает белоснежная лодка или самолет без крыльев. Легко, чуть касаясь снежного наста, как водяной жук по воде, на длинных ногах несутся сказочные сани, похожие на самолет, а сзади этого чуда блестит стрекозиным крылом прозрачный, сверкающий на солнце круг. Летучий корабль мчится по ложбине, приподнявшись над снежным настом, оставляя за собой, шлейф, в котором блестят, искрятся радужные огоньки, потом он быстро сворачивает, завеса снежной пыли скрывает его совсем от меня, а когда эта возникшая за ним, белая стена опускается, все исчезает. Я приподымаюсь на локте, хочу увидеть, где скрылась эта сказочная птица. Ни чуда-лодки, ни серебристого шлейфа, ни ровного стрекотания – ничего уже нет. Опять застывшая и стучащая в моих висках тишина. Оба соседа по палате повернули ко мне лица, в глазах вопрос, – «что там было такое?». Это ведь первый за этот месяц звук, напомнивший мне и мой город, и войну. Я не знаю, как объяснить им, что я видел сейчас. Я шепчу им: – «самолет, белый, прямо по снегу». Оба понимающе кивают, успокаиваются и закрывают глаза. И еще долго будет стоять тишина, только снег и сосны, надвигающиеся со всех сторон. Я заметно поправляюсь, начинаю шевелить пальцами на ногах, немного сгибать левую ногу в колене, правую боюсь из-за боли. Мама приходит ко мне через день, у нее ночные дежурства в госпитале, говорит, что много раненых и что меня скоро отсюда заберут.

– Только тебе надо будет подлечить ногу, ты ведь хочешь бегать, прыгать, как все? – Ага...

– Вот твою ногу и положат в гипс в госпитале, чтобы все зажило.

– Ага, – отвечаю, но что такое гипс, я не знаю.

– Нога будет белая, твердая из-за гипса. А чтобы не разбить гипс, тебе придется еще полежать.

– А гипс зачем? – Чтобы между пальцев не болело. Ведь болит?

– Ага... – Полежишь немного с этой гипсовой ногой, потом встанешь, походишь с ней, и все пройдет, – успокаивает она меня.

– А в футбол играть такой ногой можно будет?

– Все пройдет, и гипс снимут, и играть будешь... Мне это даже нравится: и смена места, и гипсовая нога, и, главное, возможность такой ногой играть в футбол. Не «подкуют» защитники из другой команды... А пока надо лежать и смотреть, как все еще падает снег, и ждать серебристого чуда с жужжащим, прозрачным диском, поднимающим снежную завесу. Солнца все больше, и когда его лучи, пробивающиеся через окно, ложатся на мое лицо, чувствую, что оно даже немного греет, по крайней мере, жмуриться от его сияния очень приятно. Можно смотреть, если глаза устают, сквозь закрытые веки, и видеть красные круги. Ниточка, рвущаяся под сердцем, когда я не могу вдохнуть полной грудью, беспокоит меня все реже, нога уже не так и побаливает. Неожиданно быстро, уже снег начал подтаивать на солнце, приходит день, когда меня заворачивают с головой так, что мне ничего не видно, выносят из этой избы, кладут в сани и отвозят домой. Дома бабушка, завидев меня, начинает плакать. Я ненадолго остаюсь дома, меня готовят к госпиталю. Уже тепло и меня иногда выносят в огород и кладут, закутанного, под дерево. Ходить я еще сам не могу, и я боюсь, что разучился, к тому же, нога все еще болит. Время моих «каникул» дома проходит быстро, и меня опять везут, но на этот раз в «мамин госпиталь», чтобы положить ногу в гипс. Я – в военном госпитале, – видимо, мама пристроила меня сюда, – в одной большой палате, вместе с ранеными. Со всех сторон меня окружают люди с гипсовыми повязками на руках, ногах или голове. Один висит, как в гамаке, подвешен на каких-то веревочках, у него виден только краешек лица с одним глазом. А мне загипсовали ногу до колена. Нога большая, тяжелая, вставать нельзя, зато не стыдно лежать вместе с ранеными на войне красноармейцами. В первый же день знакомлюсь с соседом по койке. У него

большой выпуклый, блестящий, как никелированный чайник, лоб, две широкие щетки бровей, почти сросшиеся на переносице, толстый смешной нос. А самое удивительное в нем – глаза, все время в движении, а в них поблескивают, вспыхивают и гаснут огоньки, как на беспокойной воде под лучами солнца. Какие они – не могу разобрать, так глубоко запрятан в них цвет. Он смотрит на меня и хитро улыбается, показывая палец. Рука у него большая с узловатыми суставами, а палец, как палец – ничего смешного. Меня так не рассмешишь, я не маленький. Но вот по пальцу как будто пробегает волна, потом как-то в сторону сместился сустав, выпрямился, выгнулся в противоположную сторону, и весь палец начал извиваться, как змея, все приближаясь ко мне. Я, как зачарованный, забыл о еще влажном, сдавливающем ногу гипсе, смотрю, смотрю. И вдруг раздается смех, да такой вкусный, солнечный. Я забыл, что такой существует, и тоже начинаю тихонько смеяться, наверное, впервые за весь этот год. Смеяться мне трудно, у меня одышка и под сердцем, нет-нет, да и рвется тоненькая ниточка, остро укалывая меня в грудь. Мой сосед умолк, тычет мне пальцем в мою загипсованную ногу – Ранили, да? – Ага. – Воевал, значит, да? Я только киваю головой и понимаю, что мне есть, о чем с ним поговорить. Так начинается наша дружба. К этому времени я уже считал себя знатоком географии, еще дома научился рассматривать карты, находить другие страны, не путался в названиях морей и океанов. Даже перерисовал из какого-то журнала расположение войск в операциях захвата Сингапура японцами. А оказалось, что я ничего не знаю о Грузии, о которой мой сосед только и рассказывает, собирая вокруг себя благодарных слушателей в палате. У нас нет даже радио-тарелки, и почти никто не выходит из палаты, так что новостей явно не хватает. Мой сосед сам из Грузии, которая где-то не так далеко, не за тридевять земель, а в нашей стране. И там всегда тепло и нет зимы, и есть такое море, каким я его себе воображал, с теплой, особенно остро пахнувшей, синей водой, как в южных морях и океанах. Как в Тихом или Индийском океане, где киты, дельфины, кокосовые пальмы и лежат там острова с такими замечательными названиями – Ма-да-гас-кар или Тас-ма-ни-я, Бор-не-о... И, главное, Грузия где-то совсем близко, по его рассказам, и все в ней, как в тех странах, фотографии которых я видел, только интереснее, потому что острова и страны и океаны я видел только на картинках журнала «Нива» или «Огонек», а здесь, рядом со мной человек, который сам жил в Грузии, все о ней знает, и может рассказывать о ней часами. Я лежу с закрытыми глазами, чтобы не отвлекаться, слушаю его и вижу все так, словно я стою на высоченной горе, а внизу подо мной море, а на нем белые, красные, разноцветные корабли, они везут мандарины, апельсины и лимоны. Что такое лимоны и апельсины, я не знаю, а мандарины я помню – они висели на елке в Минске, до войны. И как-то очень вкусно пахла елка с этими красными, золотисто-оранжевыми шарами на ветках. Синее море, золотые плоды с запахом Нового года – я могу об этом слушать рассказы моего соседа часами. И еще горы вокруг, такие высокие, что облака цепляются за их вершины, замерзают там от холода, а потом ледниками спускаются вниз к городу у подножья горы. – А лед там голубого цвета, – говорит он мне, – его раскалывают на кусочки и делают для ребят из него мороженое. Мороженщики ходят потом по городу и продают всем, чтобы жарко не было. И кричат – «Ма-ро-же-ны!...» Он громко смеется, и все в палате начинают смеяться, даже тяжелораненные, с усталыми от войны, с грустными лицами. Даже человек, подвешенный посередине палаты, смеется одним глазом. Я вспоминаю, что один раз, когда-то, я пробовал мороженое, оно было фиолетовое и было положено между двух вафельных кружочков. Это было на набережной в Горьком. Но вкуса его я не помню. А голубой лед из облаков, наверное, очень вкусный. – А от ледников в городе не холодно? – Что ты, дорогой, в городе так жарко, в городе столько солнца, что его упаковывают в ящики и шлют на север. Может быть, и мы получим. Все снова смеются. Иногда кто-нибудь вздохнет: – Красивая страна... – В Грузии все красиво, – продолжает мой друг, – и цветы и люди самые красивые, вот такие как я. И шевелит своим большущим носом, и сам смеется, и все вокруг снова начинают заливаться, задыхаться от смеха.

Сине-зеленая Грузия виделась мне сказочной страной, я мечтал о ней, эти рассказы навсегда отложились в моей памяти, а много лет спустя, когда я попал туда и остался в ней навсегда, я понял, где было начало моего пути. Сейчас я, как ни силюсь, не могу вспомнить имени моего первого грузинского друга, моего соседа по госпитальной койке, но отчетливо помню, что мама мне говорила о том, что он брат Серго Орджоникидзе. Орджоникидзе тогда знали все, но что делал его брат в Соликамске, в госпитале, я не знаю. Серго Орджоникидзе, Сталин, Каганович, Ворошилов, Буденный – их всех я не раз видел на картинках, плакатах. Это наши вожди, они все усатые и очень строгие. Что такое «вождь» я еще не понимаю, но они связаны с толпами людей на улицах, огромными портретами в руках.

В памяти, как мы с мамой стоим на гранитной ступеньке, за чугунной витой решеткой Дома Красной Армии в Минске, смотрим на парад, демонстрацию. С грохотом проезжают танки, пушки, проходят красноармейцы. Это все связано со словом «вожди». Вождей несут люди, радостные, нарядные. Наверное, и портрет Орджоникидзе был там. И еще я видел паровоз, который назывался Серго Орджоникидзе («СО» – были большие буквы на нем, и мне объяснили, что это значит), паровоз был громадный, черный, с большими красными колесами. Как мой сосед очутился здесь на Урале, отчего у него гипсовая повязка, я не знаю, не спрашиваю. Кисти рук у него свободны, у него такие подвижные, ловкие пальцы. Он из любого клочка бумаги может смастерить все, что угодно: чертика с закрывающимися глазками, птицу, машущую крыльями, или мячик, шар, который, если хлопнуть сильно рукой, взрывается как бомба. Он может оторвать себе большой палец, выбросить в окно, потом сказать волшебное слово – «хайдост» и палец снова оказывается на своем месте. И еще он очень здорово ловит мух, которых становится все больше. Я тоже научился у него этому – ловить муху одним движением руки. Я уже свободней себя чувствую и почти встаю с койки. Солнце уже съело почти весь снег. Вон, через окно видно, как сани по грязи еле тащатся во дворе эвакогоспиталя, везут новые полосатые матрацы. Мухи весело, по-весеннему жужжат и залетают в открытые форточки окон, а мы их ловим. Все включились в эту игру, поймать сразу три мухи, одним взмахом руки, может только мой друг, сосед по койке. Он – чемпион. Мне, наконец, разрешено вставать и я, прихрамывая, постукивая гипсовой ногой, держась за руку моего друга, выхожу в коридор, прилипаю к окнам. А потом, на следующий день, хотя этого мне и не разрешают, подхожу к открытым на улицу дверям, выхожу на крыльцо, откуда нас прогоняет медсестра. Как на дворе хорошо, какой воздух, как здорово после больничных запахов. Скоро меня выпишут, мы расстанемся и никогда больше не увидимся. У меня останется от больницы умение ловить мух, неясные очертания сказочной Грузии и гипсовая нога.

Лето 1943 года

Я дома, выхожу во двор, к ребятам на улицу, нашу улицу. Вокруг соседские мальчишки, мои сверстники, мои товарищи, окружают меня, мы давно не виделись, рассказываю. После слов «курс лечения» и «рентген» все замолкают и долго, не отрывая взглядов, немного даже завистливых, рассматривают мою белоснежную гипсовую ногу. Чулок, который мне на нее натянула бабушка, я спустил, чтобы могли лучше разглядеть. На ногу еще обули галошу и подвязали веревочкой, чтобы галоша не потерялась. – А к нам татар привезли, – сообщают мне последнюю новость. – Каких татар, когда? – спрашиваю я. – А зимой, когда тебя-т не было, – отвечает самый бойкий и все подхватывают, – На углу живут, на нашей улице, да и по городу есть, – Чудные-е, хочешь сходим? – Айда... Мне наверняка предлагают пойти из-за моей ноги. Раньше их просить надо было, чтобы взяли на склад жмых воровать или на «гигантские шаги». Такая нога – это уже достопримечательность целой улицы, особенно нашей, на окраине города. По ней никто не проезжает и очень редко кто-либо пройдет. А уж событий почти никаких не происходит, не считая упавшего во время грозы провода, убившего корову. Мой дед и здесь был на высоте, схватил топорик, подбежал к проводу и перерубил его, чтобы больше никого током не ударило. А разговоров-то было, на целый месяц. Сколько мы прожили на этой улице, и за все это время я только один раз видел на ней грузовик. Правда, такого я больше нигде и никогда не видел – ни в Минске, ни в Смоленске, ни в Горьком. Это была удивительная машина с двумя, расположенными по бокам кабины, круглыми, черными, высоченными, чугунными печками, торчащим над кабиной. Топили эти печки деревянными чурками, рассыпанными в кузове. Называлась эта машина «газогенераторной». Мы ее все сразу, со всех сторон облепили, а двое постарше и похрабрее даже в кузов залезли и стащили пару чурок, чтобы нам показать. Мы идем по улице, вот и угловой дом, засовываем пальцы в рот и свистим. Я тоже, но у меня вместо свиста получается какое-то шипение, но ничего – форма соблюдена. Сначала из окошка выглядывает какая-то бабка в двух повязанных на голове, один на другой, цветных платках. Потом, один за другим, выскакивают, выкатываются, как шарики, со двора татарские мальчишки, стриженные наголо. Их четверо, старшему лет двенадцать, младший, видимо, мой ровесник. У старшего в руках настоящий лук для стрельбы размером с меня ростом. Он даже не взглянул на мою ногу, свистнул каким-то особенным способом, без пальцев, сложив губы, и натянув тетиву лука, пускает в небо стрелу. Стрела уносится за дома, в огороды. Да, ничего не скажешь – здорово!

– Дай подержать, а? – не выдерживает один из нас.

– На-а, бери, – спокойно протягивает владелец лука. Окружаем его со всех сторон и каждому хочется подержать в руках такой красивый лук.

– Это, что – нитка такая? – Ну уж, нитка. Воловья жила, понял...

У меня обязательно должен быть такой лук. Видно и у остальных ребят с нашей улицы те же мысли.

– Покажи стрелу, – прошу я смуглого мальчугана, немного поменьше их атамана.

– Во, на...

На одном конце стрелы свернутая в острую стрелку пластинка свинца, на другом, расщепленном, вставлено перо. Отдаю стрелу другим, все внимательно рассматривают. Так состоялось мое первое знакомство с новым народом, говорящим и по-русски, но в основном, на своем татарском языке. Они откуда-то из Крыма, где тоже, как и в Грузии, тепло и море, такое же теплое, синее. Только в конце разговоров владелец лука, как бы невзначай, показывает на мою ногу и спрашивает, что это такое. Я ему объясняю, он глядит в сторону и вроде не слушает, но удержаться и не потрогать не может.

Уже на следующий день вся наша улица – «татарская орда», как говорит моя бабушка. С гиканьем и свистом носится мальчишье племя, расстреливая невидимых врагов, засевших в укрытиях. Со стрелами плохо, они залетают в чужие дворы, где чужие собаки, иногда попадают на крыши, откуда их не достать, иногда в открытое окно, тогда пиши пропало. Моя единственная стрела залетает на крышу сарая у соседского дома, я забираюсь по забору на нее, что с гипсовой ногой не просто. Стрела на самом краю, застряла у слива, я тянусь, но не могу ее достать, лишь подталкиваю рукой, чтобы упала на землю. Теперь назад, но крыша крутая и скользкая и нога мешает, и я не могу ни туда, ни сюда повернуться. Так вот и сижу, боясь пошевелиться, пока меня, зареванного, не снимет соседский, тоже из эвакуированных, мальчик – Эдик Литинский.

Я уже свободно бегаю, не обращая внимания на загипсованную ногу. Гипс кое-где отстал, можно даже пошевелить пальцами или засунуть руку под гипс у колена. Мы гоняем по улице «мяч», набитый тряпками старый чулок или большую, смятую консервную банку. Мне даже дают пробивать «пеналь», большинство ребят бегают босиком, так что ногам больно – не разгонишься, а мне ничего. После одного из таких ударов носок моей гипсовой ноги отваливается. Все собираются вокруг меня, я смотрю на бледно-розовые пальцы, и приятный холодок заползает и щекочет ступню. Дома, после длительной «нотации», бабушка своими «зингеровскими» ножницами, найденными в развороченной бомбой воронке на месте нашего дома в Орше, разрезает гипс от колена до самой ступни. Гипс раскрывается, обнажая белую, бескровную, но живую ногу. Там, где между пальцами была дырочка, остался небольшой рубец. Все на месте – нога, как нога, даже жаль немного. Зато мне теперь не запретят пойти даже на «бумкомбинат», в Березники, а то дальше нашей улицы было нельзя. А если и не разрешат, то все равно можно вместе со всеми пойти. Я дальше своей улицы и не ходил, стеснялся. Бумкомбинат все видели, кроме меня. А слово-то какое интересное, если его повторять несколько раз, то можно услышать звук машин, которые там работают: – «бум-ком-би-нат-бум-ком-би-нат». Туда не пускают, но ребята говорят, что через забор все видно. Как огромные бревна превращаются в доски под звенящими пилами, как ползут ленты транспортеров, и много еще такого, чего я никогда не видел. Или можно в тайгу пойти хоть сейчас, благо она начинается в конце улицы. А все-таки жаль, что гипс сняли – такой ноги ни у кого не было. Порастеряв все стрелы, разбив несколько окон, получив щедрую порцию нагоняев, – кому оплеух, кому тычков, – наша орда затихает на несколько дней и улица пустеет. В перерывах между «военными действиями» я ближе схожусь с татарскими ребятами и начинаю собирать, в обмен на марки, диковинные татарские монеты. Марки я уже давно начал собирать, помогает Эдик Литинский. Но сейчас особенно не дает мне покоя, увиденная у одного из татарчат, большая желтоватая старинная монета с узорчатой вязью неизвестного мне алфавита. У меня уже есть в коллекции, маленькая, но, как мне сказала мама, очень старая монета с надписью «адна денга».

Лето в полном разгаре, жаркое сухое, пока стоят такие дни, надо спешить, надо все успеть, тем более, что нас охватывает новое увлечение, новое стихийное бедствие для наших родителей – воздушные змеи. Удовольствие, особенно дорогое для военного времени, так как всем нужны нитки, а они на вес золота. Но никакие запреты, никакие уговоры, никакие засовы не помогают. Нитки в домах исчезают среди белого дня, а очередной «преступник» стоит на вытяжку перед грозным родителем и «ей-бо, ничего не знает». «Ей-бо», – говорит вся улица, это клятва и еще, любимое, – «ёк-картошка», – слово явно татарского происхождения, странное, но очень удобное для любого случая, выражающее и досаду, и восхищение, и ужас, и еще сотню самых разнообразных чувств, переполняющих мальчишек во все времена. Мы дразним татарских ребят «свиным ухом», свернутым из подолов рубашек, а они нас – «пермяками – соленые уши» и чалдонами, сразу же начинаются стычки.

Я слишком быстро расту, вытягиваюсь, особенно руки и ноги. Сапожки, купленные дедом к Новому году, настоящие, кожаные, с каблучками, я так и не успел тогда надеть ни

разу, а после снятия гипса, как мы все не старались натянуть их на ноги, ничего не получилось. «Такие деньги выброшены», – только шептала бабушка. Все вокруг стоит «такие деньги». Я расту, мне сейчас, оказывается, нужны витамины. Спасает «люськино молоко», цена на которое все подымается. Овощей здесь почти нет, а фруктов, как говорит бабушка, здесь «и в глаза не видели». А я все расту и еды мне надо все больше.

Поздно вечером, в субботу, из «лагеря» приходит «деда», который идет пешком через тайгу за восемь километров и приносит немного еды. «Деда» несет бабушкин фанерный чемоданчик, в котором всегда для меня есть что-нибудь «вкусненькое». Вообще, никогда он не приходит к нам с пустыми руками, и я всегда жду его прихода с нетерпением. Иногда, если ему удастся, он приносит тарелку манной каши, холодной, но от этого еще более вкусной, напоминающей мирное время. Посередине застывшей манной лужицы лежит вишенка из «пайка». Восемь километров сюда к нам, восемь километров обратно в Усольлаг, назад, он идет через тайгу и ничего не боится. Зимой он еще тащит за собой санки, к которым привязывает желтый фанерный чемоданчик. Меня надо «питать».

У меня начинает развиваться дистрофия. Дома в разговорах старших обнаруживаю, что у меня есть отец, где-то на юге, в Средней Азии. До войны, всегда для меня было так, что состав нашей семьи не вызывал никаких вопросов. Мал я был еще, а сейчас отцов нигде в знакомых мне семьях не было. Отец – это может быть интересно, но представить себе его я не могу, да и некогда, – лето подходит к концу, – но поехать куда-то на юг было бы здорово. Что-то такое намечается, судя по разговорам бабушки и мамы. Пока еще и на нашей улице много интересного, нового: и на Усолке, где мальчишки купаются, и в военном лагере около нас, в пригороде, и на огородах, где появилась морковь. Мы все время что-нибудь жуем, все что попадается, а когда нет ничего, думаем, где бы что достать. Жуем украденный кем-то на ферме «жмых», жуем сосновую смолу, которая здесь называется «вар». Чувство голода не покидает нас даже во сне, продуктов не хватает, цены, как говорят взрослые – «астрономические», «бешеные», но при мне цены не обсуждаются. Так краем уха я слышу, что буханка уже «триста», а масло «за тысячу». Если что-либо не лезет в горло, что-либо оставляется на тарелке, обычная реплика: «ты знаешь сколько это стоит?». Цены всех пугают, денег мало, это я знаю, хотя в газете часто появляется сообщение о том, что «колхозник Иванов все свои сбережения (миллион или более), внес на постройку самолета» или танка. Бабушка подымает глаза вверх, вздыхает. Она не удивляется, они с дедом пережили уже несколько войн и, когда начинают считать, то получается всякий раз по-другому. Просто, о некоторых они уже и забыли. И эта война не особенно их удивляет, вся их жизнь размерена войнами и приходом все новых завоевателей. «Это до войны» или «до той войны», или «во время белополяков» или «еще до тех большевиков», или «при тех немцах». Так у них отложились в памяти и связываются в целую жизнь события истории.

Для меня моя маленькая жизнь тоже разделена надвое – до войны и сейчас, в военное время. До войны прожито очень мало и только несколько ярких впечатлений, вроде трехколесного велосипеда утром, в день моего рождения, балета «Лебединое озеро» и пирожного со странным названием «микадо». Сейчас очень много интересного, каждый день что-то новое, каждый раз я просыпаюсь и знаю, что увижу еще и еще...

Лето окончилось сразу вместе с осенью. Или здесь в Соликамске осени вообще нет? Только вчера я еще успел в хозяйкином огороде стащить пару морковок, а сегодня уже крыши белые с утра от инея, и к вечеру начинает идти снег. Мама, приходя с работы, спрашивает о каком-то письме, с которым связывается наша поездка на юг. Мы определенно туда поедем. Еще неделя-другая и снова зима закрывает своим снежным пологом все живое, отделяет нас от мира, от войны, от всепроникающей домашней разрухи.

Опять зима с сугробами высотой в двухэтажный дом, с краснорожим тусклым солнцем и затяжными вечерами, которые мы не можем заполнить ни книгами, ни бесконечным сбива-

нием масла в сепараторе, ни вычесыванием вшей. Нашим хозяевам, Гуляевым, удастся зимняя спячка. Гуляевские девки вечерами цепенеют, как ящерицы на солнце, их движения замедляются, глаза наполняются поволокой, ничего не видят. Они обычно не разговаривают друг с другом, изредка роняют слова с губ, как кожуру семечек, повисшую у них на губах, дремлют, отвалившись на широкой лавке, прислонившись к теплой стенке широченной печи.

Весь город погружен в спячку, в нем почти не слышно посторонних звуков. Когда же мы уедем отсюда? Но вот приносит домой билеты на поезд. Я держу в руках красноватые, твердые картончики с дырочкой посередине, наконец-то! Здесь в Соликамске остаются «деда» и бабушка. Деда не может уйти со своей работы, они будут ждать нашего возвращения. Мы собираемся в путь. Сборы недолгие – вещей у нас почти никаких нет, все на себе.

Средняя Азия, Ленинабад, лето 1944 года

С запада на восток нас выгнала из дома война, сейчас на юг нас гонит моя болезнь, которая все еще иногда напоминает о себе одышкой, худобой, небольшим прихрамыванием и быстро затихающей болью между пальцами ступни. Поезд спешит, разгоняется на прямых участках пути, хрипит и охает на тяжелых уральских подъемах, поскрипывает деревом плацкартных вагонов, тускло освещенных заиндевевшими окнами днем и маскировочным освещением вечерами. Пермь, Челябинск, Оренбург – света становится все больше, теплеет. Мы пересаживаемся с поезда на поезд, ночуем на полу какой-то станции. Едем дальше и дальше. Столько везде народу, вся страна поднялась с места и куда-то едет, и до нас никому нет дела. Солнце поднимается с каждым днем все выше, простуженный, недовольный гудок паровоза становится голосистей, звонче. В какое-то вагонное утро, проснувшись, я выглядываю в окно и вижу, что снега нет нигде, деревьев тоже нет, нет и обещанных мне гор – бурая, грязно-желтая степь целый день бежит за окном. В степи – ни людей, ни домов, никого, ничего. Становится жарко, с каждым днем мы снимаем с себя какую-нибудь часть одежды. Непрерывное покачивание вагона, однообразие степных просторов вызывает дремоту, сонливость. Лишь остановки поезда, довольно частые, несколько нарушают однообразие нашего затянувшегося путешествия. Поезд иногда останавливается и стоит несколько часов в этой бесконечной степи у какого-нибудь разъезда. Все вываливаются из вагонов, разминаются, расхаживают вдоль состава. Меня одного не выпускают, разве с кем-нибудь из попутчиков. Еще одна ночь настигает состав на одном из вынужденных привалов. Тепло, чем-то терпким, не знакомым мне, пахнет в этой безмолвной степи, спокойная тишина. Мама вышла со мной, и мы сидим на насыпи рядом с вагоном, от перегретых букс которого пышет жаром. Глаза медленно привыкают к темноте, начинают различать предметы.

– Смотри, – говорит, – да, не сюда, вверх смотри, видишь? Я ничего не вижу, только темный, чуть мерцающий туман. Но вот, как через, начинают проступать издалека плывущие ко мне огоньки.

– Видишь – небо... – Небо?

– Конечно, а вот это – звезды.

– Звезды, звезды, – шепчу я, словно боясь спугнуть это чудо. Ни звезд, ни такого неба я еще не видел. Глаза начинают различать их, звезд становится все больше и больше, они уже не умещаются в небо, сливаются, как капли дождя вместе, и текут рекой через всю необозримость неба. Чернота неба пронизана почти посередине звездным голубым молоком. Звезды покачиваются, подрагивают, гаснут и вспыхивают, плывут ко мне по темной реке небосвода. Или я плыву к ним, взлетаю? Голова кружится. Почему я раньше не видел этого, может быть, такое небо только здесь на юге? Я помню, мне еще в госпитале рассказывал про южное небо тот человек из Грузии с необыкновенно ловкими пальцами. Но он мне ничего не говорил о звездах. Может, потому, что о них нельзя рассказать, так они прекрасны. Я смотрю в небо, не отрываясь, и ощущаю, как звездный свет входит в меня. Навсегда. Звезды – трудно еще мне понять их. У меня есть атлас с картинками и там я уже прочитал и узнал о Земле, о Солнце, и о том, что они летят во Вселенной, – такое красивое слово, – летят к другим звездам. Вся Вселенная состоит из миллионов звезд. Это не я плыву, или лечу к звездам, а Земля несется к ним и вбирает в себя звездный свет. А я, как в поезде, через окно смотрю на этот расстилающийся передо мной мир. Наверное, и Земля, как наш поезд, останавливается иногда, повисает на звездных лучах, протянутых к ней со всех сторон. Земля здесь, живая и дрожит, сокращается как мое сердце, которое вспоминает старую боль при вздохе. Паровоз гудит, зовет всех пассажиров, разбежавшихся в степи, мы возвращаемся в душные вагоны. Я ложусь и засыпаю.

– Что это, опять снег? Там, за окнами вагона, плывут белые сугробы, высотой с большие, многоэтажные дома, вокруг которых суется люди в пестрых халатах и платках на голове. Жарко, хотя окна в вагоне открыты. Горячий воздух врывается в вагон и заносит к нам в купе белые пушинки. Это хлопок, это хлопковые горы, а за ними настоящая гора, закрывающая половину неба. Поезд идет прямо к ней, а гора уходит в сторону, исчезает и появляется с другой стороны. Плавный ход поезда прерывается, вагоны вздрагивают, кажется, что поезд едет по булыжной мостовой, лязганье – очередной разъезд. Я выскакиваю из вагона, к насыпи бежит орава детворы, перемазанная грязью, в непонятной одежде, сверху которой развевающиеся рваные полы полосатых халатов. Мальчика от девочки не отличишь. Они облепляют подножки вагонов и, толкая и оттесняя друг друга, гомонят, протягивают к пассажирам ладошки, просят: – Чай, чай, чай! Некоторые бросают им монетки. Паровоз гудит, мы бросаемся в вагоны, поезд, а вместе с ним и горы поехали снова друг с другом наперегонки. Часа через два гора вдруг выныривает откуда-то сбоку и оказывается прямо напротив вагона, некоторое время движется вместе с ним в ту же сторону, потом неожиданно уходит и на ее месте появляется широкая, ржавого цвета река, потом, потом дома. Поезд проскакивает мимо базара с желтыми дынными и зелеными арбузными горками, замедляет ход и останавливается. Кажется, мы на месте, приехали – это Ленинабад. Громадный двор госпиталя, где «приняли на работу» маму. Во дворе – огромные, видимо, очень старые, с красивым названием, деревья – шелковицы, ветви которых закрывают улицу, вернее, не улицу, а улочку, узкую, скрюченную, всегда безлюдную. Улочка сдавлена с обеих сторон грязно-белыми глинобитными глухими стенами. Мы, то есть я и еще несколько таких же, как я, «эвакуированных», на улицу редко выходим и обычно с утра сидим на ветвях этих громадных деревьев. Одно дерево «на брата». Искривленные толстые ветви шелковиц поднимаются к небу. Сидя на самом, куда только можно добраться, верху, я с высоты трехэтажного дома осматриваю свои владения, не переставая набивать рот сладкими до приторности ягодами. Черные снаружи, похожие на обрубленные пальцы, чуть искривленные, большущие ягоды кровоточат в моих руках. Вкуснее их я ничего еще не пробовал. Приторная сладость, чуть приправленная иногда кислинкой – постоянное ощущение бесконечного счастья и свободы. Сколько можно их съесть – неизвестно, так как едим мы их с утра до вечера. Изредка кто-нибудь из родителей прерывает это пиршество. Ягоды на деревьях не истощаются, объесть даже одно дерево невозможно, наверное, их столько же на дереве каждое новое утро. Это мне непонятно, как непонятна бесконечность серебристой шелковой нити, подвешенной на деревянных рогаточках и тянущейся вдоль всех глинобитных стен, вдоль арыков, по которым бежит вода, по всей улице. Я уже пробовал, можно идти и идти, хоть целый час, а сверкающие на нити не кончаются. Боясь заблудиться, мне приходилось возвращаться. Нити не имели конца, уходили в бесконечность, и лето здесь было такое же, бесконечное, как эти нити. И жизнь здесь началась когда-то очень давно и не имела конца. И быстрая глинистая вода Аму-Дарьи бежала всегда, охраняемая обступившими ее горами...

Я все время бегаю босиком, в одних штанишках. Руки и рот не отмываются от темно-вишневого сока шелковицы. Боль в ступне забыта, пропитанный насквозь азиатским солнцем, как помидоры, что я таскаю тайком с огорода, примыкающего к госпитальному двору, вечером валюсь в изнеможении на кровать и не слышу, как меня раздевают. И все забываю еще раз поглядеть на звезды, открывшиеся мне так недавно. Соликамск, Урал – это где-то далеко, я забываю о его зимах, холодах, таких, что не выпускали на улицу, больничке в тайге, гипсовой ноге и боли в сердце. Только в руках у меня иногда появляется, переливающийся фиолетовыми цветами на солнце, кристалл калийной соли, который я выменял на что-то у мальчишки, отец которого работал на соликамском руднике.

Сталинабад, осень-зима 1944 года

Не помню, когда и почему мы переехали в Сталинабад, но в памяти от него осталось очень мало. Здесь нас временно поселили в здании медицинского института и таких соседей, как в Ленинабаде уже не было. Здесь было больше приезжих, а там вокруг жили таджики и узбеки, спокойные, ласковые. Там наши соседи часто приглашали меня и других мальчишек к себе во дворы и кормили, тайком от бабушек и мам, пловом, курагой, черносливом, лепешками, еще горячими, только что вынутыми из печи. И еще у наших соседей во дворе бегала девочка, моя ровесница, с «сорока» косичками, в вышитой золотом тюбетейке и с зажатой в кулачке горсточкой кишмиша.

Здесь и произошла моя первая и единственная встреча с отцом, произошла совсем неожиданно для меня, мама меня не предупредила, куда мы идем. Я только помню светлый силуэт отца, как на выцветшей старой фотографии, красновато-коричневую, глинистую землю и такого же цвета воду в арыке. Отец стоит в длинной рубахе с закатанными до колен штанами, босиком, с мотыгой в руках и смотрит не прямо на меня, а как-то вбок. Он такой большой, что его трудно оглядеть всего сразу. Я вижу его, словно через увеличительное, слушаю, он мне что-то говорит, объясняет, сбиваясь несколько раз, быстро, неприятно высоким для такого громадного человека голосом. Отец говорит, как-будто оправдывается, но я его не понимаю. Мне становится не интересно. Он говорит, говорит и, не примериваясь, точным ударом пробивает мотыгой земляной вал арыка, вода устремляется в брешь, еще пару ударов и струи теплой пенящейся воды заливают по узеньким канавкам всю бахчу. Сначала образуются острова, потом на моих глазах они уменьшаются, отдельные ручейки сливаются в озерца, и вот уже все заливают вода, становится даже прохладней от нее на этой жаре. Желания снова встретиться с отцом у меня больше не было. Целые дни, проведенные на воздухе с постоянно набитым фруктами или ягодами ртом, чувство абсолютной свободы лечили меня без вмешательства врачей. Я забыл об одышке, совсем перестал ощущать ноющую боль в ступне, позабыл об уральских зимних месяцах, проведенных в больничных палатах. Солнце прочерчивало в небе высокие арки, тяжело и нехотя поднималось в зенит, медленно сваливалось оттуда, плясало в глазах красными зайчиками и сразу же ныряло за край земли. Вечерами, напоенный за день солнечным светом, я лежал в постели, и мне казалось, что все мое тело светится в темноте красноватым светом, отдает впитавшееся за день солнечное сияние. Время здесь было вечное, как жизнь, которая пела мне на каждом шагу свою песню радости, а я восхищенный не уставал ее слушать. Часами я застывал на корточках, наблюдая за схватками скорпионов, ворошил палками осиные гнезда, улепетывал от рассердившегося роя, ловил в арыках вертких головастиков, пытался схватить за хвост стремительную ящерицу, всякий раз оставлявшую этот хвост в моей руке. Здесь я был на своем месте, здесь я мог бы жить всегда. И все-таки этот день пришел, день расставания с теплом и солнцем, югом, ярким, полным цветов и запахов, частью моей жизни. Мы возвращались на Урал, в Соликамск, к деду, возвращались именно летом, так как уже знали об освобождении Минска. Урал встретил нас, как и раньше, прохладным летом и всеобщим ожиданием конца войны, о которой там, на юге я совсем забыл. Это последнее уральское лето и осень мы жили только непрерывным ожиданием отъезда, каким-то «вызовом», которого ожидала мама, ежедневным слушанием по радио сводок «от Советского Информбюро».

Что-то слишком долго мы собираемся – прошло уже несколько месяцев, как Минск освобожден, а мы все здесь. Я успеваю поступить в школу. Меня берут сразу во второй класс, так как читать и писать я уже давно умею. Успеваю нахватать троек к всеобщему позору, из-за своей рассеянности, – мысли заняты только отъездом, – успеваю походить на лыжах с мальчишками в тайге, так как уже выпал снег, погонять на «трехконьковке», одолженной у соседа,

прообразе бобслея. Но этот день все-таки наступил. Все приходят в нервное возбуждение, волнуются, перешептываются почему-то, «как там, в Минске», «кто там остался», «что уцелело». По случаю такого торжества достается, видимо, из военного госпиталя, где опять возобновила работу, настоящая, легковая машина. Старая, с облезлой в разных местах голубой краской, но зато какая, – ЗИС-101, – по тем временам, да еще и в Соликамске – неслыханное чудо. Нас провожают несколько семей из «эвакуированных», с которыми мы сблизились за эти годы жизни в чужом городе – Литинские, Пекелисы. Эдик Литинский отдает мне, прощаясь, свои марки и дарит два тома «Великого Моурави», о грузинском воине – Георгии Саакадзе. Я не знал тогда, что с этих книг для меня начнется через много лет «моя Грузия». Женщины, как обычно, плачут. Прощаемся, как будто навсегда, а, может быть, правда, навсегда, по крайней мере, с Уралом, эвакуацией, моими болезнями...

Мы дома, в Минске, 1944 год

Минск, мой родной город, разрушен так, что я еще не видел ни одного целого кирпичного дома, всюду горы разбитых, разрушенных, обгорелых домов – «погорелки», кирпично-красные холмы. Нет улиц, деревьев, фонарей – город умер, только в нижней части города течет мрачная безжизненная река, а на окраинах уцелели от немецких и советских бомбардировок одноэтажные частные домики и солдатские бараки

* * *

– Если ты еще будешь идти за мной, я в школу не пойду, —

это я говорю бабушке, которая, провожая меня, норовит дойти со мной до школы. То-то я думал, чего она одевается. Ведь уже говорил, чтобы не ходила за мной. Ультиматум подействовал. У меня в руках матерчатая, сшитая бабушкой, сумка, теплое стеганое, почти до щиколоток, пальто, тоже сшитое ее же руками, а на ногах «бурки», это что-то вроде валенок. Бурки делали из всего, что попадалось под руку, складывая в несколько слоев и простегивая на швейной машине. Бурки можно достать только на «черном рынке». Стеганные бурки всунуты в красные галоши, которые мне очень нравятся, так как красных галош очень мало в городе. Черных – сколько угодно. И те, и другие клеиваются умельцами из автомобильных американских шин, в городе только американские машины, которые и «поставляют» нам резину для галош. Другой обуви на улице почти не увидишь, в сапогах ходят лишь военные. Чтобы не потерять галоши, особенно играя в футбол, их подвязывают к буркам веревочками. Так ходить вообще удобней, особенно по осенней грязи, в которой застревают ноги. — Мы живем в оставшихся от немцев, солдатских деревянных бараках, в поселке, который все называют «полиграфическим». Поселок – это с десятков бараков, выстроенных в одну линию. В бараках длинные коридоры, отдельные для каждой семьи комнатки, в которых очень холодно, так как бараки сейчас не отапливаются, дров нет, топить нечем. С каждым днем становится все холоднее, и хотя стоят чугунные печки – буржуйки в каждой комнате, растапливаются они редко, а в основном стоят с открытыми чугунными ртами. За день все понемногу натаскивают к ночи для них, кто бумагу, кто остатки упаковочных ящиков. Чуть-чуть натопив, стараемся быстрее лечь в постель, не теряя тепло. Уже декабрь, и к утру вода в ведре, запасенная для утреннего чая, покрывается ледяной корочкой. Война уже давно ушла за пределы нашей страны, продолжается на чужих землях. По вечерам мы слушаем очередные сводки с названиями городов, уже незнакомых мне. Днем мы, – мальчишки, – повторно берем эти города в наших играх, все свободное от школы время отдается наступательным, оборонительным и другим военным операциям на «погорелках». Развернуться есть где: еще не везде убраны подбитые танки, немецкие автомашины, есть вполне приличные для военных операций полуразрушенные дома. Мы с мамой как-то прошли к месту, где когда-то стоял наш красивый, шестиэтажный «дом специалистов». От нашего подъезда остались лишь нагроможденные друг на друга, рухнувшие лестничные пролеты. И огромная воронка там, где находилось здание. Наш костел Св. Роха во дворе уцелел, торчит каким-то чудом среди этих мрачных развалин и разбросанных памятников кладбища. Город напоминает глухой запущенный лес из скрюченных балок и молчаливых руин, отдельно стоящих печных труб и кирпичных полей. Это ощущение усиливается оттого, что нет улиц, есть только проходы, как извилистые лесные тропы. А заснеженные пустыри, отдельно стоящие стены домов – молчаливы, как уральский лес зимой. Город, как декорации в довоенном мариинском театре, куда она брала меня с собой. Едва очерчены контуры исчезнувших зданий, дома не имеют объемов, за четырехэтажной стеной может быть пустырь. Вот лестница, широкая,

в несколько пролетов, вздыблена в небо и обрывается в пустоту. — Город спит, как усталый, отвоевавший свое солдат, кажется, вечным сном. От прежнего Минска ничего не осталось, зато мы остались. Он возродится, совсем другим, может быть, даже лучшим, чем прежде...



Вид на город со стороны площади Свободы в 1944 году (фото из архива Белгосфильмфонда)

Война еще продолжается, мы играем на пустырях в свою театрализованную войну. Группы мальчишек строго делятся после длительных торгов на «наших» и немцев с помощью «считалок»: — «мати-мати, что вам дати...». Никто не хочет быть в роли немцев, но жеребьевка, кому быть немцами, все решает. Кое-кто из ребят постарше имеет настоящее оружие: немецкий складной автомат — «шмайсер», револьвер или финку. Все это тщательно прячется от родителей. У каждого мальчишки имеется дома свой собственный «арсенал» с боеприпасами — снарядами, патронами, артиллерийским порохом в виде длинных черных макарон и уж обязательно ракеты. По самой большой цене в нашей дворовой среде идут термитные снаряды, горящие ярким голубым огнем, расплавляющие даже землю вокруг. Они обмениваются «по курсу» — один за пять «гадюк», немецких ракет, рассыпающихся в воздухе при поджоге и шипящем выстреле вверх на сотню разноцветных, падающих дождем огней.

В городе по-прежнему темно, вечерами Минск погружается в темноту, а уроки приходится делать вечерами, так как днем на них не хватает времени. Красноватый свет от самодельной лампы дрожит, дрожит тень от ручки, дрожат мои буквы, которые неровно ложатся на прочерченные карандашом линейки-строчки тетради, сшитой бабушкой из разноцветных листов бумаги. Буквы корявые, «больные», как говорит одна из учительниц в школе. С чистописанием у меня плохо, я ведь не учился в первом классе, но говорят, что в третьем его уже не будет. Я сижу впрытик к самодельной лампе — артиллерийскому латунному снаряду со сплюснутым концом, в котором держится фитиль. От снаряда сильно пахнет керосином, но светит он гораздо сильнее уральских плошек. Это уже почти керосиновая лампа — мечта моей бабушки, мама, как обычно, на работе во второй смене. Через некоторое время выясняется, что старая дедушкина довоенная квартира, то есть комната, в которой он жил, а жил «деда» всегда отдельно от нас, — сказывалась привычка к независимости и собственному дому, экспропрированному у него после революции, — так вот, дедова комната каким-то чудом уцелела в старом доме на Интернациональной улице. Правда там живет, — «полночник», рассказывая об этом, бабушка понижала голос, — «какой-то эмгебешник». К лету нам обещают вернуть эту комнату, так как «деда», оказывается, работает именно в МГБ, санитарным врачом. Дед, чтобы не ходить поздно ночью через весь город к поселку, ночует на работе. Поговаривают, что в городе «шалют какие-то банды». Скорее бы лето, все устали от зимних холодов, от бесконечных забот о печке-буржуйке, прожорливой, как топка паровоза, от окон, из щелей которых все время дует, от плохой зимней одежды, зимних проблем с умыванием, словом от первой зимы. Мы, хотя и в Минске, но не дома. Нашего дома больше нет, а дедушкин — занят чужими людьми, говорят, офицерами МГБ.

Май 1945-го!!!

Мы, наконец, получаем в свою собственность довоенную, дедушкину комнату, в старом двухэтажном доме, сохранившимся во время войны, на втором этаже. Комнатенка маленькая, с высоким узким окном, высоченной белоснежной кафельной печкой и недосягаемым потолком, отчего комната кажется еще меньше. Поселяемся в ней втроем – мама, бабушка и я. Дед, привыкший к независимому образу жизни, по-прежнему отдает предпочтение служебному кабинету и столу, за которым он пишет и на котором спит. Через некоторое время дед находит сдающуюся на окраине города в частном бревенчатом доме комнату, и семья окончательно переходит на оседлый образ жизни. У нас в комнате есть настоящая электрическая лампочка, прикрепленная двумя согнутыми крючками проводов к таким же, торчащим прямо из стены. То, что в них есть электричество, обнаруживает случайно дедушка. Мы начинаем «воровать» свет, так как счетчика у нас нет, да и достать его невозможно, а соблазн слишком велик – четыре года мы жили без электрического света. Счетчик здесь был, но прежний жилец, «эмгешник», переезжая, вырвал из стены щиток с электросчетчиком, сорвал всю проводку и, чтобы не входить на новом месте в лишний расход, заодно и свинтил ручки с дверей и окон. Напротив нашей двери, квартира-то общая, с другими жильцами, коммунальная, проживает тоже «эмгешник», при котором, если он дома, шепотом говорят уже все, не только бабушка. Соседи, налево из наших дверей, старые, еще довоенные, приехавшие раньше нас, обычная еврейская семья – Ботвинники. Я долго не могу понять, кто из них кому кем приходится. Дора Моисеевна с сыном Маратиком и с мужем Михаилом Семеновичем, – упорно называет его Мойшей, – занимают две комнаты с балконом. Маратик зовет Мойшу дядей, оказывается Дора и Мойша – брат с сестрой.

Наш старый квартал по улице Интернациональной почти весь чудом уцелел, хотя на противоположной стороне улицы нет ни одного сохранившегося дома, кроме «монастыря бенедиктинцев». Впрочем, его ждала такая же участь, как и остальных, разрушенных войной, строений. Когда я случайно нашел в интернете этот рисунок, то глазам своим не поверил. Это было местом наших дворовых игр. «Советы» потом взрывали его целую неделю, а у нас дрожали стены и тряслись стекла в окне. Чей это рисунок, я так и не нашел, или затерял где-то в своем архиве... Поблагодарил бы автора, что разбудил мою память...

За задним фасадом дома, рядом с уцелевшим костелом, выходящим на площадь Свободы, светит пустыми окнами, выгоревшая изнутри, старинная башня с часами. Школа, в которую я сначала перехожу, размещена в служебном здании монастыря, впритык к костелу. Несколько раз я, не в силах удержаться, несмотря на запрет бабушки, захожу в костел, когда там идет служба. В костеле мне все очень нравится – и пение, и музыка, и строгие статуи святых во всех приделах. Только обязательное буханье на колени вызывает у меня еле сдерживаемый смех, за который какая-то из старушек-прихожанок больно тычет мне в голову сухим кулачком. Костел, правда, очень скоро закрывают, и он стоит печальный, красивый, со своими двумя белыми башнями, среди обшарпанных, уцелевших домов, ожидает свою участь.

Наш двухэтажный дом стоит во дворе квартала, он кирпичный с деревянными пристройками у подъездов, с балкончиками во втором этаже, предметом моей зависти – у соседей комната с балконом. Вокруг квартала одни развалины, – «погорелка», так это называется на уличном жаргоне, – неизведанная страна, полная всяких тайн и неожиданностей. Все свободное от школы время мы рыщем по «погорелке» в надежде найти что-нибудь интересное, ковыряем стены, растаскиваем кучи разбросанных бомбежками кирпичей в тайной надежде найти клад, довоенный сейф или чью-нибудь «заначку».

Ни один уважающий себя «хлопец», так мы обращаемся друг к другу, не пропускает в своей жизни того времени, когда ему, ну «прямо кровь из носу», необходимо найти клад. Любое место кажется нам подозрительным в этом смысле, мы часами бродим по кладбищам, заглядываем в склепы, а найдя подходящую стену, оглянувшись по сторонам для конспирации, кто-нибудь засовывает руку во все вентиляционные отверстия, простукивает пустоты. Клад найти хочется всем, но ни одного такого знакомого счастливца среди нас нет. Мы ведь еще не знаем, что после Тома Сойера и Гека Финна, ни одному из мальчишек в мире не удалось разыскать клад, несмотря на уйму потраченного времени. Единственный раз за несколько послевоенных лет нам удалось откопать прилично сохранившийся, небольших размеров, сейф, извлеченный из-под груды обломков, но после многочасовых усилий, затраченных на то, чтобы открыть его с помощью ломика, мы заглядываем внутрь и находим там только пачку спекшихся во время пожара транспортиров и ещё какой-то мелочи. Видимо, до войны здесь был магазин канцелярских товаров. Нам все время не везет. Зато нам повезло в другом, потому что мы увидели День Победы и конец войны, и слышали не прекращавшуюся ни днем ни ночью стрельбу из всех видов оружия – народный салют после стольких лет маскировки и тишины. День Победы запомнился страшной толпой в кинотеатре «Родина», открытом недавно на соседней улице, и очередями у пивных бочек на улицах. В эти дни мы были предоставлены полностью себе – родители о нас забыли в своей радости наступившей мирной жизни. В городском парке начались массовые гуляния, толпы народа позволяли нам «просачиваться» в зрительный зал кинотеатра без билета, «на прорыв», что в другие дни было не очень просто. Контролёры закрывали на нас глаза.

Дома у нас узнали о полной победе и капитуляции Германии раньше других, так как на радио работала диктором мамина подруга – Лиля Стасевич. И когда я на следующий день принес эту весть в класс, то целый день пользовался особыми знаками внимания к своей особе. Это был совершенно особенный, никогда больше не повторенный, май месяц 1945 года.

Популярность в школе, как и в обычной жизни, явление быстротечное, исчезла быстро, в классе появился новый кумир, на голову выше всех ребят, Слава Голубев. Он за один раз может съесть целый батон и говорит уже басом.

Наш класс – обычный мужской класс обычной мужской средней школы. Он ничем особым не отличается от других классов, так же спаян взаимопониманием во время письменных работ и контактами при вызове к доске. Разве что у нас есть собственное изобретение, на которое приходят посмотреть из соседнего класса, и мы готовы поделиться опытом с ними – конструкцией миниатюрной подвесной дороги от первой парты до последней. По дороге едут во время контрольных работ вагончики-шпаргалки, едут точно по расписанию. А вот городской трамвай, первый номер и пока единственный в городе, ходит мимо нашей школы, когда ему вздумается. Резинки на пальцах-минирогатки, игра в «перышки» на уроках на задней парте, игра пятаками «об стенку» на переменах и после школы, два ябедника-профессионала, которых мы хором забрасываем на высокую кафельную печь под самый потолок, «для остротки» – неполный набор развлечений школьной жизни. Печка – орудие наказания, так как слезть с печи самому невозможно, а очередная жертва дожидается прихода учителя с лестницей. Есть в классе и своя «Камчатка» – задний ряд парт с великовозрастными второгодниками, у некоторых, хотя мы еще в четвертом классе, пробиваются усы. По выбеленным стенам следы от галош, соревнования по плевкам на дальность, о которых в учительскую проникает искаженная версия о том, что «у них там даже в ухо друг другу плюют». Словом, весь обычный для того времени набор игр обычного мужского класса обычной мужской школы. Необычен, по крайней мере для меня, а я уже переменил три школы из-за нехватки школьных зданий и постепенного увеличения числа школьников, необычен только наш учитель – Даниил Денисович Лиштван – старый, еще с гимназических времен, преподаватель, подвижный, подтянутый, сухощавый, с полным набором беларуских, польских и русских цензурных ругательств.

– Стой, холера ясна! Встать, руки на парту! – Это он ко мне, выхватывает из-под крышки парты у меня книгу, в это время из-за спины извлекается неперемнная, всегда при нем, деревянная линейка.

– Та-а-к, поинтересуемся, что тут у Вас такого необыкновенного, чем Вы заняты?

– Робинзон Крузо, великолепно... Вы уже на необитаемом острове?

– Руки на парту!

– Дикари! – линейка падает мне на ладони – Пятницы! – еще один удар, бьет он не больно, больше для устрашения.

– «Робинзона» уношу, попрощайтесь, давно не читал, с довоенного времени. Книга кладется в портфель, я в отчаянии. Во-первых, я не должен был ее брать из дома, хотя она моя, собственная, мне ее подарили на день рождения. Во-вторых, такую книгу достать невозможно, это полное «академическое» издание, такого ни у кого из моих сверстников нет. Вся надежда на первые парты, где расположены наши «разведчики». Класс понимает сложность операции, но быстро ориентируется, тем более, что еще и половина класса не прочла этот шедевр. Выручает «Камчатка».

– Тр-тр-тр-тр-тр..., – раздается оттуда. Даниил Денисович делает стойку, напрягается и спиной к классу вслушивается, как сторожевой пес.

– Тр-тр-тр... – снова тот же звук сверчка, но он уже в броске туда, на звук, руки его в последнее парте, и Даниил со счастливым лицом ребенка, получившего, наконец игрушку, медленно извлекает из парты, как рыбу из воды, боясь упустить, и поднимает над головой «пстрикалку» – миниатюрную трещотку, сделанную из киноленты, новинку этого учебного года. Это была его ошибка, один из «камчадалов» покидает класс, но «Робинзон Крузо», вытасченный мгновенно из портфеля учителя, уже у меня за пазухой. В конце урока построение, обыск – процедура, отработанная нами, прошедшими через санпропускники военного времени, в совершенстве. Класс с невинными физиономиями, по одному проходит, протискивается с открытыми сумками, портфелями мимо него, стоящего в дверях контролером, а первые же, выпущенные из класса на волю, ловят внизу под окнами «Робинзона», выброшенного из окна. Потому и обложка у этой моей книги до сих пор оторвана.

Даниил Денисович был совершенно особым человеком, класс мог простить ему все его чудачества и строгости. Ну, какой другой учитель мог после уроков затащить к себе домой полкласса и катать всех на лодке? Он жил в собственном домике у самого берега Свислочи, на ее повороте к железнодорожному вокзалу. Кто еще мог в то голодное время поить всех нас чаем с медом из двух своих сохранившихся в войну ульев? Или задавать на зимние каникулы по полтора задачка, из которых мы не успевали сделать и половины. Кто мог наказывать нас линейкой и рассказывать при этом смешные поучительные истории, попадать, рассердившись, мелом в лоб, сидящему на самой задней парте, и не видеть, как ставят у него под носом перевернутые отметки в классный журнал, когда он отворачивался?

Когда весь наш класс перевели в новую, только что отремонтированную после военной разрухи, 4-ую городскую мужскую школу имени Кирова, мы еще долго по инерции ходили к нему в гости. Нам тяжело далось расставание с ним – единственным за эти несколько лет, добрым к нам учителем, с беззаботной жизнью учеников 3-го класса. Начиналась настоящая, строгая учеба в новой, самой лучшей школе, с новыми преподавателями, новыми предметами.

Начиналась новая жизнь. Эта школа была ближе к дому, можно было дойти до нее за двадцать минут – через «погорелки», пожарища, нерасчищенные улицы. Но ходить пришлось уже в первую смену, то есть рано утром, почти в ночь, когда в зимнее время, по улицам, освещенным только луной, я часто шел, закрыв от страха глаза – такие вокруг были «декорации» послевоенного города.

1946 год. Возвращение родных из Германии (репатрианты)

– Лю-у-у-ся, – кричит под окном тетя Мила, «мадам Литвинчук», как по привычке зовет ее моя бабушка. «Литвинчуки» занимали вторую половину дома, где прошло детство моей мамы, они остались в оккупации, так и «отсиделись» в своем доме всю войну, что позволило сохраниться всей семье.

– Нюра на вокзале! – выдохнула она разом. Какая Нюра, почему на вокзале? Я вижу, что побелело и мамы лицо, что она хочет что-то сказать, но губы беззвучно шевелятся. хватает со стола свою сумочку, на ходу набрасывает на себя кофту и бросается вниз по лестнице, я за ней. Мы втроем бежим через весь город к вокзалу. На ходу слышу, что «эшелон», что «надо дать кому-то», что там Майя, Том... Это ведь тетя Нюра, а Том и Майка – мои брат и сестра, чтоб мне с места не сойти. Это было они, из той далекой солнечной жизни, до войны. Эта та, уже забытая мной, воронка на месте их дома в Орше, где мы оказались при бегстве из Минска. Это там была когда-то собака Лорд, на которой можно было мне ездить верхом, и дядя Макс в черном автомобиле «Эмке», Днепр и еще чего-то много такого, что я на ходу еще не успеваю вспомнить. Что там делают с тетей Нюрой, я не вижу, потому что стою у груды вещей, сброшенных с товарного вагона, и смотрю на них – Майю и Тома. Майя высокая, с толстой косой, в сером, в обlipку, платье, такая красивая, каких я еще не видел. Она стоит, как на ветру, чуть подавшись вперед грудью, спокойная и строгая. На горе из чемоданов и сундуков, на которых написано что-то по-немецки, сидит Том, мой брат, в ковбойской рубашке и безрукавке. На них необычная одежда, которую я пока видел только в кино. Том, прямо Том Сойер, а ведь точно похож, тютелька в тютельку, я его именно таким и представлял. У меня, значит, брат, старший брат, крепыш, выше меня и конечно сильнее. Тут уж во дворе мы кое с кем посчитаемся. Мы с ним жмем друг другу руки. Наша семья удвоилась. Нас теперь шестеро в дедовой комнате, где мы жили пока втроем, шесть человек на 13-ти квадратных метрах. Зато стало интереснее, веселее. Бабушка спит на диванчике, мама с тетей на кровати «валетом», а мы втроем на полу. На полу лучше всего, все равно, что в другой комнате. Мы, обычно, долго лежим без сна и тихо шепчемся с братом, обсуждая события прошедшего дня. Сестра с нами не говорит, но даже в темноте чувствуешь, что она тоже не спит, а лежит с открытыми глазами и глядит куда-то сквозь стены. У нее свои мысли, ей уже семнадцать лет, и мы для нее не представляем никакого интереса. Том старше меня на три года, ему уже двенадцать, а мне когда-то еще будет только десять. Майя лежит с края, Том посередине, я впритык к бабушкиному диванчику. Громадная пуховая перина, привезенная нашими из Польши, покрывает, как облако, весь пол нашей комнатенки. Мы с братом, наговорившись, засыпаем, мама с тетей все шепчутся, им есть, что рассказать друг другу.

Отдельным ярким и страшным воспоминанием от этого года осталась церемония казни, через повешение, военных немецких преступников на городском стадионе каким-то воскресным днем лета 1945-го года. Эта, застывшая в памяти на всю жизнь сцена, стоит перед глазами, не утрачивая своей фотографической резкости: тысячеголовая толпа на поле перед виселицами, ровный ряд «студебеккеров» с откинутыми бортами перед ними, барабанная дробь, строгие каменные лица немецких офицеров на бортах автомашин. Немцы стоят вытянувшись, как на параде, спокойные и, как мне казалось, торжественные, и только один из них во время этой церемонии обмякает, когда ему хотят надеть на шею петлю, его подхватывают под руки и довершают церемонию. Под барабанную дробь, по команде, «студебеккеры» отъезжают, оставляя за собой раскачивающиеся тела. Все кончено, общий вздох толпы, один из повешен-

ных еще некоторое время дрыгает в конвульсиях ногами. Мне помнится, что настроение у всех было близкое к празднику. А мне почему-то не было весело и стало неприятно смотреть, как «висельников» толпа раскачивает за ноги... Если мой брат почти все умеет, если мой брат столько видел, что и за год всего не расскажешь, если мой брат уже на следующий день расквасил нос одному из моих врагов, Ленке-Тянитолкаю, точным боксерским «хуком», то и мне есть, чем гордиться. Я учу моего старшего брата писать. Ну да, он не умеет писать, точнее он умеет писать, но только по-немецки. Я диктую ему русские тексты, а он пишет их немецкими буквами, значит надо переучиваться. Он и говорить умеет по-немецки, а сестра еще и по-польски. Тома во дворе побаиваются все, даже Жорка-Ключник, мрачноватый тип в «малкозырке», который уважительно ставит ему пиво в ларьке наискосок от нашего дома. Осенью мы пойдем вместе в четвертый класс, брат потерял три года учебы в Польше, в немецком лагере, где если и учили, то не тому, что сейчас нужно. Жаль, что пока его нельзя устроить в нашу школу, нет мест, но маме обещали. Мама преобразилась, помолодела с приездом наших, ослеславленная швейной машинкой, которую тетя Нюра провезла через все границы. Машину эту (настоящий Зингер) ей когда-то еще «при царе горохе», до революции купил дед, Александр Павлович, то ли в Вильно, то ли в Варшаве. Бабушка целыми днями сидит за машиной, мурлыча себе что-то под нос, давит ногой на педаль, раскручивая массивное колесо привода. Когда бабушка устает, ее сменяет тетя Нюра. Машина постоянно стрекочет, всем что-то надо, одежды не хватает. На нас, мальчишках, одежда, как говорит бабушка, «просто горит», сестре вообще уже «надо прилично выглядеть», так что с утра до вечера что-нибудь старое распарывается, раскраивается, перелицовывается, перешивается. Из старой юбки получают новые штаны, из пальто – брату куртка, из каких-нибудь двух старых предметов туалета – один новый. Бесконечная цепочка необыкновенных превращений – явное доказательство закона сохранения материи. Бабушку опять сменяет тетя, машина уже работает в две смены, моя мама тоже работает в две смены, на двух работах и приходит поздно вечером, падая сразу в постель. Мы, если не в школе, то на улице, на «погорелках», сестра в очередной раз, уже в русской школе, заканчивает учебу, чтобы получить аттестат для поступления в институт. Дома она обычно сидит, поджав под себя ноги, и что-нибудь читает или смотрит невидящими глазами куда-то вдаль. От ее красоты у меня захватывает дух, а я уже начинаю в этом разбираться. А у Тома уже бывают и свидания, на которые он меня, конечно, никогда не берет.

Новый учебный год начался, мы пошли в школы, пока в разные, во дворе стали восстанавливать следующий дом немецкие военнопленные, в длинных рваных шинелях, худющие, с запавшими синяками глаз. Том иногда разговаривает с ними и как-то приводит одного «расконвоированного» к нам домой, чтобы он сделал форточку в окне. Бабушка, повздыхав, делает ему бутерброд, за который он потом столько раз говорит «данке», что всем становится неудобно, а бабушка вот-вот расплатится, глядя на его истощенное лицо. Немецких военнопленных становится в городе все больше – рядом с нашим кварталом возникает обнесенный колючей проволокой лагерь, с часовыми на деревянных башенках по углам, с собаками. Все немцы из лагеря заняты на стройке, строят очень быстро, умело. Через четыре-пять месяцев на параллельной нашей Интернациональной улице – Советской улице – возникает громадное, во весь квартал, здание с башнями, колоннами, арками, сразу же закрытыми массивными железными воротами, с появившимися у подъездов часовыми. Это первое здание послевоенного Минска, новое здание нового города, новой, как всем кажется, спокойной мирной жизни. Это желтое здание – Министерство Государственной безопасности, «эмгебе», по-нашему. Здесь работает наш сосед по квартире – «эмгебешник» или «полуночник», по определению бабушки. Мы его никогда не видим, даже не знаем, какой он в лицо, он приходит домой по ночам, и ни с кем, как мы знаем, не поддерживает отношений. Многоопытная бабушка запрещает нам громко разговаривать в коридоре у его дверей.

Бабушке с нами уже не справиться, но мы и сами дома бываем все меньше. Наступило настоящее, жаркое лето и мама поговаривает, что, может быть, нас отвезут в деревню, где живет бабушкина родная сестра Эмилия. А пока мы «строим», точнее разрушаем остатки старого города. Похватав дома кое-как еду, мы мчимся с подручным инструментом на «погорелку», понимая, что старый город надо разрушить, чтобы выстроить новый. Наша самая активная во дворе «команда», – не какие-нибудь маменькины сынки, – со своим главарем, «рыжим боцманом» или его «заместителем» Жоркой-Ключником, как на работу, каждый день выходит «брать приступом» обгорелые, полуразвалившиеся дома вокруг нашего квартала. Работа стихийная, но целенаправленная общей мыслью – разрушить все вокруг, старое, безобразное, непригодное для города. Десяток мальчишек с нашего двора разваливали какой-нибудь трех-четырёхэтажный, обгорелый, с пустыми глазницами окон, дом за несколько дней. Конечно, вся подготовительная работа шла в сладострастном предвкушении последней фазы разрушения – этого торжества после наших героических усилий. Подбив потрескавшуюся стену дома снизу импровизированными кирками или ломиками, обвязав эту стену на уровне, например, третьего этажа веревкой, «рабочая бригада» дружно налегала на конец. «Раз-два, взяли», – стена качнулась, еще раз-другой, мы попадаем в резонанс с ее покачиванием, все более расшатывая кирпичную громадину, еще разок – все врассыпную. Медленно, нехотя, стена наклоняется, останавливается на мгновение, у всех от предвкушения главного момента начинает холодеть в животе. Стена обрушивается, погружая всех нас в столбы красновато-серой пыли. Иногда стена падала не в ту сторону, так один раз стена стоящего наискосок дома упала почти перед носом трамвая, который уже пошел и по нашей Интернациональной улице. Работы пришлось на время приостановить, надо было пополнить запас конфискованных у нас инструментов и не мелькать перед глазами людей, заинтересовавшимися нашими работами.

Мы осваиваем теперь клуб МГБ, ходим туда смотреть «трофейные» кинофильмы, чаще всего американские. Денег на нормальный билет ни у кого нет, но нас «пацанов» контроллер пропускает по таксе «рубль с носа» (старый рубль до 1947 года) и мы сидим где-нибудь, притулившись к стене на полу, или на радиаторах отопления, или на случайно пустующем месте подвое.

А какие фильмы нам удалось тогда посмотреть, одни названия чего стоят: «Капитан армии Свобода», «Ураган», «Знак Зоро», «Девушка моей мечты», «Джордж из Динки-джаза». Это было окно в тот мир, о котором мечталось мне еще в долгие часы моих больничных, уральских дней в эвакуации. Окно, которое немного приоткрылось, как театральный занавес, как та, другая жизнь летом, в Средней Азии, яркая, вкусная и цветущая, полная радости.

Наша жизнь, а вскоре и жизнь всего города, начинает вращаться вокруг здания Министерства Государственной Безопасности. Город застраивается вокруг него, напротив него вырастает в считанные месяцы еще один дом, похожий на здание МГБ, дом с угловой башней, с часами, потом рядом такой же, потом еще и еще, так на наших глазах появляется новая Советская улица – главная улица нашего города. Всюду на стройках военнопленные немцы – они строят то, что разрушили, в этом есть и высшая справедливость.

В один из выходных дней мама собирает нас, и мы едем на поезде, – а я так давно не видел поездов после возвращения с Урала, – едем к «тёте Эмме», так ее называют у нас дома. Я ее еще ни разу не видел и вообще это целое приключение, на поезде до Руденска, а потом еще и пешком километра четыре до деревни Цитва, где и живет моя вторая бабушка. Мы идем пешком, я босиком, но тепло, хорошо идет по проселочной дороге, особенно в начале пути. На половине пути попадаем в невероятной красоты грозу с ливнем, останавливаемся прижавшись друг к другу. Я начинаю уставать, но присутствие женщин заставляет держаться. Часа за два приходим в деревню, и вот мы в доме «тёти Эммы», огромном жилом пространстве после нашей комнатухи, целый дом со своим садом, огородом, с коровой в хлеву, как на Урале у Гуляевых,

с собакой Шариком, такой же как в Соликамске. У дома кусты сирени достают до золотистой соломенной крыши, во дворе колодец «журавль» и две большущие яблони.

У бабушки Эммы все так вкусно, такие замечательный запахи во всем доме: на окнах сушится пахучая мята, все имеет совсем другой вкус, чем в городе, даже яйца, которые я очень люблю, исчезнувшие в нашей жизни на Урале. В огромной белоснежной, выбеленной печи что-то булькает, шипит за заслонкой, ждет нас, бабушка приготовилась к этой долгожданной для всех встрече. Нам еще не раз с Томом доведется проводить летние каникулы у бабушки Эмили, так что я пока прервусь.

Мне 10 лет. Чтобы я ни сказал маме, она мне верит, так что невозможно при таком доверии ее обмануть, эти уроки воспитания я запомнил на всю жизнь. Поэтому кое-что приходилось не выносить наружу, не подвергать ее критике, ложь в семье была под строгим запретом. Книжное образование продолжалось, стали интересовать новые темы. Боль под сердцем, та старая, уральская давно прошла, но зато появилась этой осенью и стала потом приходиться каждую следующую осень новая болезнь – любовь. Можно назвать это и по-другому, например, осенней лихорадкой, объяснить каким-либо гормоном, но каждую осень это особое состояние души приходило откуда-то и так же странно и необъяснимо уходило. Все остальные времена года были поделены на школу, бассейн, книги, и только осенью все отходило на второй план, и я погружался в состояние между сном и болезненным бредом. Конечно, в первые десять лет это не причиняет особых страданий, все переживания сначала ограничиваются бесцельным хождением вокруг «ее» дома и смертельной боязнью увидеть «ее», палочками с вырезанным именем, окруженным затейливыми вензелями, чтобы никто не мог прочесть, и бормотанием имени избранницы, или фамилии. Имя играет первостепенную роль, особенно если ее зовут Ада. Фамилия первой любви, или как это чувство еще можно назвать, – Беленькая, хотя она брюнетка с черными масляными глазами. Спасает от этого нового чувства рано выпавший ночью октябрьский снег – все переживания утром уходят навсегда. Потом будет хуже, переживания приобретут новую форму, усилятся, и сроки этого заболевания иногда затронут и другие сезоны года.

Первая потеря, февраль 1947

Редкий сегодня день – никого дома, кроме меня и бабушки. Бабушка легла отдохнуть на диванчик, а я с соседским мальчиком играю в шахматы, мы залезли с ногами на стулья и ведем бой за центральную, пешку. Сумерки, за окном серость, положение на доске у меня неважное. Брат ушел куда-то, не берет меня с собой в последнее время, у него «роман». Сестра что-то вообще не появляется, тетя стала работать вместе с дедом на городской санитарной станции. Игра не клеится. Бабушка лежит спиной ко мне, вроде бы заснула, но вот скрипнул диван, потом, как в замедленной съемке в кино, она поворачивается на бок лицом ко мне, приподнимается на локте. Еще ничего не понимая, я начинаю чувствовать страх, а сердце мое отчетливее и быстрее стучит во мне. Бабушка висит на своем локте вечность, глядит прямо мне в глаза. Ей надо что-то мне сказать, что-то очень важное, я вижу, понимаю, даже хочу спросить ее. Ну, что ты хочешь, – говори, только не молчи. Я хочу, но не могу вскочить и подбежать к ней, сижу онемелый, окаменелый. Вижу в ее глазах как будто свое отражение, напряжение, а глаза, как день за окном потухают, из них уходит сначала несказанный вопрос, потом смысл, потом свет. И, словно, я сам исчезаю вместе с блеском ее глаз, вот она уже не видит меня, хотя и смотрит по-прежнему прямо в мои глаза. Еще что-то связывает нас, какая-то ниточка, но лопнула, она смотрит уже сквозь меня, сквозь себя. Напряжение во взгляде исчезает, она что-то увидела там, за кругом жизни, на меня из ее глаз смотрит пустота. Это смерть. Я хочу вздохнуть – не могу. Темнота налетела, вечер за окном кончился сразу, внезапно. Пустота ее глаз втягивает меня, я судорожно держусь за край стола, чтобы не упасть. Ее тело опускается на подломившийся локоть. Все кончено... Я бросаюсь из комнаты, иначе эта пустота, отдающаяся звоном в ушах, поглотит меня. Бегу раздетый по улице, что это – снег, дождь, я бегу босиком, ничего не ощущая. Куда бегу, разве от этого можно убежать? Мне жарко, а пустота гонится за мной. – Мама, мама, – шепчу или в мыслях бьется. Я бегу к ней, она где-то близко у знакомых в гостях, кажется, у тети Веры Мальковой в гостинице, через пару улиц. Вот подъезд, лестница, распахиваю дверь: – Мама, мама, – БАБУШКА!..

Вот и все, а дальше – ни дней, ни людей, ни похорон я не видел и ничего не помню, словно провалился в черноту. А когда пришел в себя и стал соображать, что произошло, почувствовал – ничего не спасет, никто не поможет, ни мама, ни брат, ни один человек на земле. Все уходит в пустоту, она стоит за спиной, прячется по углам и ждет. Она может ждать долго, но все равно дождется – она вечная. А я нет. И все другие тоже. Она везде, а я только здесь. Она всегда, а я на миг, на одну жизнь. Тогда зачем все это вокруг? А все остальные разве не знают? Ходят, едят, разговаривают, смеются... Может быть, они знают что-то другое, важное, чего я не понимаю. Я лежу ночами напролет и размышляю – ничего не поделаешь, ничего не исправишь. Не хочу, НЕ ХОЧУ! Не хочу, чтобы меня никогда не было! Нигде! Пусть не всегда, но когда-нибудь, где-нибудь снова. Разве это совсем невозможно!

Что-то со мной произошло за это время, я вижу себя не изнутри, как раньше, когда все было вокруг меня, словно создано только для меня, а вижу, как бы со стороны, наблюдаю, как за другим человеком. Он маленький, этот человек, и его иногда бывает очень трудно понять, почти невозможно, он не говорит никому о своих мыслях. Вот он идет по улице, вдруг останавливается и начинает считать шаги до выступающего из мостовой камня. При этом шепчет про себя: – «Если больше четырнадцати, то всегда, если меньше...» и отсчитывает шаги, осторожно переступая, словно боится. Или сидит часами, глядя куда-то далеко, не видя никого вокруг, не слыша. Когда он остается дома один, наедине со своими мыслями, неотступная мысль об исчезновении кружится в его голове, пожирает все остальные, до обморока, он падает и долго обессиленный и уничтоженный этой мыслью не может встать. Хорошо, что никто его не видит в эти мгновенья. У него вырабатывается скрытность, вместе с ней воля, а может

и мужественность. Никто, ни один человек, даже мама, не должны видеть его в такие минуты, никто не должен знать его мысли. Если это его слабость, тем более.

Этот маленький человечек учится жить и не думать о ее конце. Он, смешной и трогательный, прикоснулся к великой тайне жизни, взвалил на себя всю тяжесть неразделенных мыслей, сомнений, но думает, что выдержит. Выдержит, дорогой ценой...

Как хорошо начинался этот новый сорок седьмой год! Все мы, почти все, вместе. Войны уже нет второй год, карточки отменили, мама до сих пор домой приносит американские «рационы» – помощь от союзников. Я поэтому попробовал уже шоколад из рациона – громадного картонного ящика с буквами на английском языке. Мы с братом знаем, что такое жвачка из тех же рационов, стуженное молоко в литровых банках, иногда вложенных в эти коробки, жир-лярд, свиная тушенка или бекон. А в кино мне мама как-то купила настоящее пирожное за двадцать пять рублей. Том взрослеет, у него свои дела, свои друзья, девочки. Он подарил мне свой альбом с марками, которые я начал собирать еще в Соликамске, и, вместе с моими, у меня уже их больше трех тысяч. Каждая марка – это маленькое чудо. В каждой можно увидеть хотя и небольшой, но зато настоящий кусочек мира, чужую, а поэтому еще более интересную, страну, незнакомое небо, неизвестных мне людей. Сейчас мне они особенно нужны, с ними можно сидеть целый день, перелистывая страницы альбома с вишневым кожаным переплетом, вынимая каждую новую марку стальным пинцетом, а потом осторожно, чтобы не замазать зубцы, ставить ее на свое место, наслаждаясь рисунком и звучанием надписей на них – Руанда Урунди, Ньяса, Сан-Марино или Дагомея, – новые для меня места и страны, а острова – Маврикий, Гваделупа, Тасмания или Мадагаскар. Можно целыми днями рассматривать переливающиеся радужными цветами марки в клее и ни о чем не думать, кроме той, незнакомой мне жизни. А штемпели на марках, как медали за заслуги, как отметки в паспортах, во время их путешествия по всему миру. Может, именно вот эта марка не зря столько путешествовала, может она привезла очень нужную кому-то весть или просто соединила двух людей на земле и им стало не страшно, не так одиноко. Марки могут жить долго, гораздо дольше людей, вот, например, эти из Великобритании – на них даты – 1889 год. Это, я знаю, год рождения моей бабушки. Вещи, вообще, живут дольше нас, бабушки уже нет, а ее швейная машина все работает и будет работать еще долго. Нет того, кто ее сделал или изобрел, нет того Зингера, чья фамилия осталась в чугунных завитках швейной станины. Или часы дедушки, которые он купил в самом конце девятнадцатого столетия, на них даты выгравированы римскими цифрами, которые я не очень хорошо знаю, дата и таинственная фамилия – «Lady Elgin». И заводятся они так, как сегодня уже никто не делает, специальным, маленьким, золотым ключиком. Но не это главное, главное, что они ходят и ходят, и еще будут ходить сотню лет. А через сто лет, может быть, никого из нас уже не будет. Что-то не так все устроено, неправильно, несправедливо. Маленький мальчик сидит и думает обо всем, что уже неотступно преследует его, иногда считает что-то, он верит в числа счастливые и несчастные. У него их мало, пока только два счастливых числа – семь и четырнадцать. Он еще не знает, что конец года принесет столько новых мыслей, что придет новая беда, и к мыслям о неправильности смерти прибавятся мысли о неправильности жизни.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.